

Борис ЕЛЬЦИН

ИСПОВЕДЬ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

Советский писатель
Ленинградское отделение
1990

Редактор Ю. А. Помпеев
Художник В. И. Коломейцев
Автор передал гонорар за эту книгу в Фонд помощи жителям блокадного Ленинграда, счет 34000700778 Жилсоцбанка.

Прочитал свое выступление. Удивился слегка — мне казалось, что выступил я тогда острее и резче, но тут, видимо, время виновато, с тех пор общество так продвинулось вперед, столько прошло острейших дискуссий... А тогда это была первая критика Генерального секретаря, первая попытка не на кухне, а на партийном форуме гласно разобраться, почему перестройка начала пробуксовывать. Это была первая, так сказать, реализация провозглашенного плюрализма.

Б. Ельцин, март 1989 года

Уже два с половиной года, которые так негативно оценил товарищ Ельцин мы идем правильным путем. И самая главная заслуга этого двухлетнего периода состоит в том. что партия имеет продуманную и уже теперь во многих отношениях проверенную политику. И практика это подтверждает. Мы не зря прожили эти два года, хотя они и не нравятся товарищу Ельцину. Не зря!

М. Горбачев, 21 октября 1987 года

Мне кажется, если бы у Горбачева не было Ельцина, ему пришлось бы его выдумать. Несмотря на его в последнее время негативное отношение ко мне, он понимал, что такой человек, острый, колючий, не дающий спокойно жить забюрократченному партийному аппарату, — необходим... Я буду драться за Горбачева. Именно за него — своего вечного оппонента, любителя полушагов и

полумер. Он единственный человек, который может удержать партию от окончательного развала.

Б. Ельцин, март 1989 года

ОТ АВТОРА

В течение двух последних лет несколько крупных издательств предлагали мне написать книгу о своей жизни. Я отказывался. Отказывался, потому что знал — ни времени, ни возможности для такой большой работы не будет. Да к тому же считал, что не пришла еще пора для подведения итогов.

Между тем жизнь в стране продолжалась. И за месяцы и недели происходило столько бурных и драматичных событий, сколько раньше умещалось в целые десятилетия. Мы менялись. И прощались с той эпохой, к которой, хочется верить, не будет возврата никогда. В какой-то момент я понял, что, может быть, есть смысл и в моих воспоминаниях. Уступив настойчивым просьбам, согласился написать и о себе, и о том времени, которое мне пришлось пережить.

Но, как я и предполагал, работа над книгой шла в основном по воскресеньям и по ночам. И если бы не помощь молодого журналиста Валентина Юмашева, которому часто приходилось, подстраиваясь под мой ритм, работать без выходных и ночами напролет, — трудно сказать, появилась ли бы эта книга.

От души, по-дружески много помогали Валентина Ланцева, Лев Суханов, Татьяна Пушкина. И, конечно, моя семья.

Всем им — самое сердечное спасибо.

Благодарен судьбе, что они были рядом.

Гонорар за эту книгу я передавал на борьбу со СПИДом в нашей стране. Отсутствие в наших больницах одноразовых шприцев, других необходимых инструментов уже привело к трагическим случаям заражения детей СПИДом. Я считаю своим долгом в меру своих возможностей внести вклад в борьбу с этой страшной бедой. Гонорар будет направлен на закупку одноразовых шприцев, другого необходимого оборудования. Если это поможет людям, я буду счастлив.

Издавая свою книгу в Ленинграде, я счел необходимым перевести гонорар в Фонд помощи жителям блокадного города.

Борис Ельцин

ХРОНИКА ВЫБОРОВ

25 марта 1989 года.

Вроде бы никаких сомнений нет. Завтра состоятся выборы народных депутатов. И по Московскому национально-территориальному округу № 1, где выставлены кандидатуры Ю. Бракова и моя, подавляющим большинством голосов москвичи (а их 6 млн. человек) должны избрать меня своим депутатом. Об этом говорят все официальные и неофициальные опросы общественного мнения (в том числе прогноз американцев), об этом говорит предвыборная атмосфера, да и просто моя интуиция говорит — завтра все будет нормально.

Только почему-то я опять не сплю. Опять прокручиваю все ситуации, которые обрушились на меня в последние месяцы, недели и дни. Пытаюсь понять, где ошибался, а где отработал точно. Ошибки были, они меня подстегивали, заставляли работать с удвоенной, утроенной энергией.

Вообще это качество моего характера. Я не знаю, плохое оно или хорошее, — анализируя ситуации, события, я пропускаю все удачное и останавливаюсь на своих недостатках и ошибках. Поэтому ощущение постоянной неудовлетворенности собой, неудовлетворенности на 90 процентов.

Завтра будет подведен итог последних полутора лет моей жизни. Политический изгой и обладатель громких партийных титулов с добавлением «бывший»: бывший секретарь ЦК КПСС, бывший первый секретарь Московского горкома партии, бывший кандидат в члены Политбюро... Все — бывший. Во времена Сталина бывших политических деятелей расстреливали, Хрущев отправлял их на пенсию, в брежневскую эпоху экс-деятелей посылали послами в дальние страны. Перестройка и тут создала новый прецедент. Отставнику дана попытка вернуться в политическую жизнь.

Когда мне, снятому со всех постов, позвонил Горбачев и предложил должность министра в Госстрое

СССР, я согласился, поскольку в тот момент мне было абсолютно все равно.

В конце разговора он сказал: «Но имей в виду, в политику я тебя не пущу!» Тогда он, видимо, искренне верил в эти слова. И не предполагал, что сам же создал и запустил такой механизм демократических процессов, при котором слово Генерального перестает быть словом диктатора, превращающимся немедленно в неукоснительный закон для всей империи. Теперь Генеральный секретарь ЦК КПСС может сказать: не пущу в политику, — а люди подумают-подумают и решат: да нет, надо пустить... и пустят! Настали другие времена.

Сколько же они нам еще нового принесут! В этом прелесть сегодняшнего времени, но в этом же и его беда. Никто не знает, что будет дальше... Неуклюжая, огромная, тупая партийно-бюрократическая система совершает неловкие телодвижения, пытается защититься, сохранить себя, но этим губит сама себя еще быстрее. Перед ней была поставлена локальная, казалось бы не слишком сложная задача — сделать так, чтобы на выборах меня провалили. Задачка-то ведь действительно не ахти какая... Это вам не квартиру каждой семье к 2000 году выдать или страну накормить по-человечесхи... Тут-то ведь надо было всего с одним человеком справиться!.. Да еще имея в руках такой «замечательный» закон о выборах — с окружными собраниями, отсеивающими неудобных, с непомерной властью окружных комиссий — детищем бюрократии, да плюс к этому держа в кармане послушный огромный пропагандистский аппарат! И все-таки они умудрились и эту задачу провалить. Все, что предпринималось в эти месяцы против меня (подтасовка фактов, ложь, суровые решения Пленума ЦК и т. д.), давало мне еще большую поддержку людей.

И когда совершалась очередная глупость, которая неизменно вызывала прилив симпатий москвичей в мой адрес, я вдруг особенно ясно ощущал, в какой глубокой пропасти мы оказались и как же неимоверно тяжело нам оттуда будет выбраться. Ведь именно этот партаппарат и эти люди собираются совершать новые преобразования на путях перестройки и гласности. И никому этого права отдавать они не собираются. В такие минуты руки совсем опускались.

Спасение было в том, что во время предвыборной кампании я практически каждый день встречался со своими избирателями. И от них подпитывался энергией и новой верой в то, что жить так, как мы жили раньше, невозможно. Моральное рабство кончилось...

Ну хорошо. А если все-таки завтра проиграю? Что это будет значить? Что аппарат оказался сильнее, что победила несправедливость? Да ничего подобного. Просто я тоже человек, и у меня есть недостатки. Сложный, упрямый характер. Я заблуждался, делал ошибки, так что не избрать меня вполне можно. Но даже если выберут Бракова, на которого ставит аппарат, все равно это глубокая иллюзия, что он станет послушно выполнять волю тех, кто его тянул. И он, и я — любой сегодня только в том случае сможет осуществлять роль народного депутата, если будет слушать народ, а не аппарат, выполнять требования людей, а не партийно-бюрократической номенклатуры.

За кого же проголосует Москва? Осталось ждать совсем немного...

«Если бы вернуть октябрь 87-го, как бы Вы поступили?»

«Борис Николаевич! Было ли Ваше выступление на Пленуме, посвященном 70-летию Октября, жестом отчаяния, или Вы надеялись на поддержку кого-то из членов Политбюро?»

(Из записок москвичей во время встреч, митингов, собраний)

Закончилось заседание Политбюро. Я вернулся в свой кабинет, взял чистый лист бумаги. Еще раз подумал, прикинул все и начал писать:

«Уважаемый Михаил Сергеевич! Долго и непросто приходило решение написать это письмо. Прошел год и 9 месяцев после того, как Вы и Политбюро предложили, а я согласился возглавить Московскую партийную организацию. Мотивы согласия или отказа не имели, конечно, значения. Понимал, что будет невероятно трудно, что к имеющемуся опыту надо добавить многое, в том числе время в работе.

Все это меня не смущало. Я чувствовал Вашу поддержку, как-то для себя даже неожиданно уверенно вошел в работу. Самоотверженно, принципиально, коллегиально и по-товарищески стал работать с новым составом бюро.

Прошли первые вехи. Сделано, конечно, очень мало. Но, думаю, главное (не перечисляя другое) — изменился дух, настроение большинства москвичей. Конечно, это влияние и в целом обстановки в стране. Но, как ни странно, неудовлетворенности у меня лично все больше и больше.

Стал замечать в действиях, словах некоторых руководителей высокого уровня то, чего не замечал

раньше. От человеческого отношения, поддержки, особенно от некоторых из числа состава Политбюро и секретарей ЦК, наметился переход к равнодушию к московским делам и холодному отношению ко мне.

В общем, я всегда старался высказывать свою точку зрения, если даже она не совпадала с мнением других. В результате возникало все больше нежелательных ситуаций. А если сказать точнее — я оказался неподготовленным, со всем своим стилем, прямотой, своей биографией, работать в составе Политбюро.

Не могу не сказать и о некоторых достаточно принципиальных вопросах.

О части из них, в том числе о кадрах, я говорил или писал Вам. В дополнение.

О стиле работы т. Лигачева Е. К. Мое мнение (да и других) — он (стиль), особенно сейчас, негоден (не хочу умалить его положительные качества). А стиль его работы переходит на стиль работы Секретариата ЦК. Не разобравшись, копируют его и некоторые секретари «периферийных» комитетов. Но главное — проигрывает партия в целом. «Расшифровать» все это — партии будет нанесен вред (если высказать публично). Изменить что-то можете только Вы лично для интересов партии.

Партийные организации оказались в хвосте всех грандиозных событий. Здесь перестройки (кроме глобальной политики) практически нет. Отсюда целая цепочка. А результат — удивляемся, почему застревает она в первичных организациях.

Задумано и сформулировано по-революционному. А реализация, именно в партии, — тот же прежний конъюнктурно-местнический, мелкий, бюрократический, внешне громкий подход. Вот где начало разрыва между словом революционным, а делом в партии далеким от политического подхода.

Обилие бумаг (считай каждый день помидоры, чай, вагоны... — а сдвига существенного не будет), совещаний по мелким вопросам, придирок, выискивание негатива для материала. Вопросы для своего «авторитета».

Я уж не говорю о каких-либо попытках критики снизу. Очень беспокоит, что так думают, но боятся сказать. Для партии, мне кажется, это самое опасное. В целом у Егора Кузьмича, по-моему, нет системы и культуры в работе. Постоянные его ссылки на «томский опыт» уже неудобно слушать.

В отношении меня после июньского Пленума ЦК и с учетом Политбюро 10/IX, нападки с его стороны я не могу назвать иначе, как скоординированная травля. Решение исполкома по демонстрациям — это городской вопрос, и решался он правильно. Мне непонятна роль созданной комиссии, и прошу Вас поправить создавшуюся ситуацию [Поясню читателям, о чем идет речь в письме. Лигачев создал комиссию Секретариата ЦК по проверке состояния дел в Москве. Ни конкретного повода, ни причины для этого не было]. Получается, что он в партии не настраивает, а расстраивает партийный механизм. Мне не хочется говорить о его отношении к московским делам. Поражает: как можно за два года просто хоть раз не поинтересоваться, как идут дела у 1150-тысячной парторганизации. Партийные комитеты теряют самостоятельность (а уже дали ее колхозам и предприятиям).

Я всегда был за требовательность, строгий спрос, но не за страх, с которым работают сейчас многие партийные комитеты и их первые секретари. Между аппаратом ЦК и партийными комитетами (считаю, по вине т. Лигачева Е. К.) нет одновременно принципиальности и по-партийному товарищеской обстановки, в которой рождаются творчество и уверенность, да и самоотверженность в работе. Вот где, по-моему, проявляется партийный «механизм торможения». Надо значительно сокращать аппарат (тоже до 50 %) и решительно менять структуру аппарата. Небольшой пусть опыт, но доказывает это в московских райкомах.

Угнетает меня лично позиция некоторых товарищей из состава Политбюро ЦК. Они умные, поэтому быстро и «перестроились». Но неужели им можно до конца верить? Они удобны, и прошу извинить, Михаил Сергеевич, но мне кажется, они становятся удобны и Вам. Чувствую, что нередко появляется желание отмолчаться тогда, когда с чем-то не согласен, так как некоторые начинают «играть» в согласие.

Я неудобен и понимаю это. Понимаю, что непросто решить со мной вопрос. Но лучше сейчас признаться в ошибке. Дальше, при сегодняшней кадровой ситуации, число вопросов, связанных со мной, будет возрастать и мешать Вам в работе. Этого я от души не хотел бы.

Не хотел бы и потому, что, несмотря на Ваши невероятные усилия, борьба за стабильность приведет к застою, к той обстановке (скорее, подобной), которая уже была. А это недопустимо. Вот некоторые причины и мотивы, побудившие меня обратиться к Вам с просьбой. Это не слабость и не трусость.

Прошу освободить меня от должности первого секретаря МГК КПСС и обязанностей кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС. Прошу считать это официальным заявлением.

Думаю, у меня не будет необходимости обращаться непосредственно к Пленуму ЦК КПСС.

С уважением *Б. Ельцин.*
12 сентября 1987 г.»

Я запечатал письмо в конверт, последний раз подумал, стоит ли отправлять его, может быть, лучше еще немножко подождать?.. Потом резко отбросил все эти спасительные мысли, вызвал помощника и передал конверт. Я отлично знал, что почта между Москвой и дачей в Пицунде, где отдыхал Генеральный, функционирует прекрасно и уже через несколько часов Горбачев получит мое письмо.

Что будет дальше?.. Он вызовет меня к себе? Или позвонит, попросит успокоиться и работать так, как я работал раньше? А может быть, мое письмо об отставке поможет ему осознать, что ситуация в высшем руководстве партии сложилась критическая и надо немедленно предпринимать какие-то шаги, чтобы обстановка в Политбюро стала здоровой и живой?..

Я решил не гадать. Мосты были сожжены, назад дороги не было, я работал, как всегда, с раннего утра и до поздней ночи, не признавался себе, что нервничаю, переживаю. Делал вид, что ничего не случилось, все идет как обычно. Никто, в том числе семья, об этом ничего не знал.

Так началась эта история, которая завершилась шумным, почти легендарным октябрьским Пленумом ЦК партии 1987 года, который сыграл особую роль в моей жизни, да, наверное, и не только в моей.

Меня потом часто спрашивали, а был ли какой-то конкретный повод, какой-то толчок, заставивший меня взяться за письмо Горбачеву. И я всегда совершенно определенно отвечал: нет. И действительно, все накапливалось как-то постепенно, незаметно. Было, правда, одно заседание Политбюро, на котором обсуждался доклад Горбачева к 70-летию Октября, и я высказал около двадцати замечаний по этому докладу, и Генерального это взорвало. Я был поражен, как можно реагировать столь несдержанно на критику... И все равно этот эпизод не был решающим.

Началось все раньше, с первых дней работы в составе Политбюро. Все время меня не покидало ощущение, что я какой-то чудак, а скорее, чужак среди этих людей, что я не вписываюсь в рамки каких-то непонятных мне отношений, что здесь привыкли действовать и думать только так, как думает один человек — Генеральный секретарь. В этом так называемом коллективном органе партии практически не высказывают или высказывают только по непринципиальным вопросам свою точку зрения, отличную от председательствующего, и это все называется единством Политбюро. А я никогда не скрывал того, что думал, и не собирался себя менять, когда начал работу в составе Политбюро. Это раздражало многих, не раз мы сталкивались с Лигачевым, с Соломенцевым, другими. Некоторые внутренне меня поддерживали, даже в какой-то степени сочувствовали, но вида не показывали.

Протест против стиля и методов работы Политбюро и зрел во мне давно: уж слишком резко отличались они от тех призывов и лозунгов о перестройке, которые были провозглашены Горбачевым в 85-м году. Даже контрастировали. Конечно, Политбюро шло не так, как при Брежневе: теперь сидели и чаще всего слушали монологи председательствующего. Горбачев любил говорить округло, со вступлениями, заключениями, комментируя чуть ли не каждого. Создавалась видимость дискуссий, все вроде бы что-то говорили, но сути это не меняло: что Генеральный хотел, то он и делал. Все это, по-моему, прекрасно понимали, но каждый эту игру поддерживал и в ней успешно участвовал. Но я играть не хотел. Поэтому высказывался довольно резко, открыто, прямо. Погоду, честно говоря, мои выступления не делали, но портили благодушную атмосферу заседаний основательно. Постепенно у меня сложилось твердое мнение: или надо менять большую часть состава Политбюро на свежие, молодые силы, на людей энергичных, нестандартно мыслящих, и этим ускорить процесс перестройки, — и тогда, не изменяя своим позициям, можно было продолжить активную работу и серьезно сдвинуть дела во всех отношениях; или надо уходить.

Во время отпуска Горбачева, когда вел Политбюро Лигачев, стычки стали особенно частыми. Он держался самоуверенно, изрекая старые, уже изжившие себя догмы. Но весь ужас был в том, что к этому приходилось не только обязательно прислушиваться, но и руководствоваться в действиях по всей стране, во всей партии. Так работать было нельзя.

Я решил: или надо ломать себя и приспосабливаться ко всему, что здесь творилось, и спокойно оставаться в Политбюро — молчаливым, подыгрывающим, поддакивающим, а высказываться только по незначительным, мелким вопросам; или выходить из состава Политбюро.

Очередная перепалка произошла с Лигачевым на Политбюро по вопросам социальной справедливости, отмены привилегий и льгот. После окончания заседания я вернулся к себе в кабинет и написал письмо в Пицунду, где отдыхал Горбачев. Горбачев приехал, позвонил мне, сказал: «Давай встретимся позже». Я еще подумал: что такое «позже», непонятно... Стал ждать. Неделя, две недели.

Приглашения для разговор не последовало. Я решил, что свободен от своих обязательств, — видимо, он передумал встретиться со мной и решил довести дело до Пленума ЦК и меня из кандидатов в члены Политбюро именно там вывести.

Потом по этому поводу было много разных толков. Горбачев говорил, что я нарушил нашу договоренность, мы условились встретиться совершенно определенно после октябрьского Пленума, а я специально решил раньше времени выступить... Еще раз повторяю: это не так. Напомню, в письме я попросил освободить меня от обязанностей кандидата в члены Политбюро и первого секретаря МГК и выразил надежду, что для решения этого вопроса мне не придется обращаться к Пленуму ЦК. О встрече после Пленума разговора не было. «Позже» — и все. Два дня, три, ну, минимум, неделя — я был уверен, что об этом сроке идет речь. Все-таки не каждый день кандидаты в члены Политбюро уходят в отставку и просят не доводить дело до Пленума. Прошло полмесяца, Горбачев молчит. Ну, и тогда, вполне естественно, я понял, что он решил вынести вопрос на заседание Пленума ЦК, чтобы уже не один на один, а именно там устроить публичный разговор со мной.

Сообщили о дате Пленума ЦК. Надо было начинать готовиться и к выступлению, и к тому, что последует за ним. Естественно, что каким-то образом организовывать группу поддержки из тех членов ЦК, которые думали и оценивали положение дел в партии и ее руководстве так же, как и я, — не стал. Даже мысль об этом мне казалась, да и сейчас кажется, кощунственной. Готовить выступающих, договариваться о том, кто что будет говорить, в общем, плести интриги я никогда бы не стал. Нет, нет и нет. Хотя мне многие потом говорили, что надо было объединиться, подготовиться, выступить единым фронтом, тогда хоть какой-то эффект был бы, руководству пришлось бы посчитаться с мнением пусть меньшинства, но уж, по крайней мере, не одиночки, которого можно обвинить в чем угодно.

Я на это не пошел. Более того, никому, ни единому человеку не сказал о том, что собираюсь выступить на Пленуме.

Даже самые близкие мне члены бюро Московского горкома партии ничего не знали, ни словом я с ними не перемолвился.

И потому никаких иллюзий насчет того, что меня кто-то поддержит, естественно, не было. Знал, что даже товарищи по ЦК в лучшем случае промолчат. Поэтому морально надо было готовиться к самому худшему.

На Пленум я пошел без подготовленного выступления. Лишь набросал на бумаге семь тезисов. Обычно каждое свое выступление я готовил очень долго, иногда по 10 — 15 раз переписывал текст, пытаясь найти самые важные, точные слова. Но в этот раз я поступил по-другому, и, хотя, конечно, это был не экспромт, семь вопросов я тщательно продумал, все же не стал писать текст. Мне даже сложно сейчас объяснить, почему. Может быть, все-таки не был уверен на все сто процентов, что выступлю. Оставлял для себя малюсенькую щелочку для отхода назад, предполагая выступить не на этом Пленуме, а на следующем. Наверное, мысль эта в подсознании где-то была.

Повестка дня заседания была известна: проект доклада ЦК КПСС, посвященного 70-летию Октября. Меня отнюдь не смущал этот праздничный повод. Наоборот, думал, это хорошо, что мы наконец-то пришли к здравому пониманию очень простой мысли: праздник — это вовсе не повод для одних торжественных и длинных речей с аплодисментами; в такие дни полезно говорить и о своих проблемах. Я сильно заблуждался. То, что я будто бы испортил светлый, чистый праздник, мне потом было инкриминировано в первую очередь.

С докладом выступил Горбачев. Пока он говорил, во мне шла борьба — выступить, не выступить?.. Было ясно, что откладывать уже бессмысленно, надо идти к трибуне, но я прекрасно понимал, что на меня обрушится через несколько минут, какой поток грязи выльется на мою голову, сколько несправедливых обвинений мне придется выслушать совсем скоро.

Речь Горбачева подходила к концу. Обычно обсуждение таких докладов не предполагается. Так оно случилось и в этот раз. Лигачев уже собирался заканчивать заседание. Но тут произошло непредвиденное. Впрочем, лучше я процитирую бесстрастную стенограмму Пленума.

«Председательствующий т. Лигачев. Товарищи! Таким образом, доклад окончен. Возможно, у кого-нибудь будут вопросы? Пожалуйста. Нет вопросов? Если нет, то нам надо посоветоваться.

Горбачев. У товарища Ельцина есть вопрос.

Председательствующий т.Лигачев. Тогда давайте посоветуемся. Есть нам необходимость открывать прения?

Голоса. Нет.

Председательствующий т.Лигачев. Нет.

Горбачев. У товарища Ельцина есть какое-то заявление.

Председательствующий т. Лигачев. Слово предоставляется т. Ельцину Борису Николаевичу — кандидату в члены Политбюро ЦК КПСС, первому секретарю Московского горкома КПСС. Пожалуйста, Борис Николаевич».

И я пошел к трибуне...

13 декабря 1988 года.

Я принял решение. Не знаю, насколько оно правильное. Я буду участвовать в выборах в народные депутаты. И прекрасно представляю себе, что шансы у меня отнюдь не стопроцентные. Закон о выборах дает возможность власти, аппарату держать многое в своих руках. Нужно преодолеть несколько этапов, прежде чем уже сам народ будет делать свой выбор. Система выдвижения кандидатов, окружные собрания, отсеивающие всех неугодных, избирательные комиссии, захваченные исполкомовскими аппаратчиками, — все это настраивает на грустные размышления. Если проиграю, если мне не удастся на этих выборах стать депутатом, представляю, с каким восторгом и наслаждением рванется добивать меня партийная номенклатура. Для них это прекрасный козырь: народ не захотел, народ не выдвинул, народ провалил... Хотя, конечно же, к народному волеизъявлению те же окружные собрания никакого отношения не имеют. Это ясно всем, начиная от рядового избирателя и заканчивая Горбачевым.

Это подпорка под разваливающуюся систему власти, кость, брошенная партийно-бюрократическому аппарату.

Можно, конечно, в выборах и не участвовать, близкие друзья советуют мне отказаться от борьбы, потому что в слишком уж неравных условиях я оказался. Слово «Ельцин» последние полтора года было под запретом, я существовал и в то же время меня как бы и не было. И, естественно, если я вдруг выйду на политическую арену, начну принимать участие во встречах с избирателями, митингах, собраниях и т. д., вся мощнейшая пропагандистская машина, перемешивая ложь, клевету, подтасовки и прочее, обрушится на меня.

И второе. По существующей выборной системе, министры не имеют права быть народными депутатами. И, следовательно, если я буду выбран, мне придется уйти с поста, ну а дальше — полная неизвестность. Съезд народных депутатов, скорее всего, меня провалит при выборах в Верховный Совет СССР, следовательно, в парламенте мне не работать. Передо мной открывается более чем реальная перспектива в лучшем случае стать безработным депутатом. Насколько я знаю, ни один министр не собирается расставаться со своим креслом. Народных депутатов много, а министров мало.

Итак, мне надо решить.

Со всей страны начали поступать телеграммы. Огромные многотысячные коллективы выдвигали меня своим кандидатом. По этим посланиям можно изучать географию Советского Союза.

Предстоящие выборы — это борьба. Изматывающая, нервная, к тому же с извращенными правилами, игра, в которой бьют ниже пояса, набрасываются неожиданно сзади, используют всякие другие запрещенные, но зато эффективные приемы. Готов ли я, зная о таких условиях, начинать долгий, изнуряющий предвыборный марафон?

Я размышляю, сомневаюсь, чуть ли не отговариваю себя, но, самое интересное, решение ведь уже давно созрело. Может быть, даже в тот самый момент, когда я узнал о возможности таких выборов. Да, конечно, я брошусь в этот сумасшедший водоворот и, вполне возможно, в этот раз сломаю себе голову окончательно, но иначе не могу...

«Когда началось Ваше становление бунтаря?»

«В кого Ваш характер — в отца или мать? Расскажите чуть подробнее о родителях».

«Говорят, что Вы были настоящим спортсменом и даже играли за команду мастеров... Это слухи или правда?»

(Из записок москвичей во время встреч, митингов, собраний)

Я родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Та-лицкого района Свердловской области, где жили почти все мои предки. Пахали землю, сеяли хлеб, в общем, существовали как и многие другие.

Отец женился здесь же: был на деревне род Ельциных и род Старыгиных, это фамилия матери. Они поженились, и скоро на свет появился я — их первый ребенок.

Мне рассказывала мама, как меня крестили. Церквушка со священником была одна на всю округу, на

несколько деревень. Рождаемость была довольно высокая, крестили один раз в месяц, поэтому для священника этот день был более чем напряженный: родителей, младенцев, верующих — полным-полно. Крещение проводилось самым примитивным образом — существовала бадья с некоей святой жидкостью, то есть с водой и какими-то приправами, туда опускали ребенка с головой, потом визжавшего поднимали, крестили, нарекали именем и записывали в церковную книгу. Ну и, как принято в деревнях, священнику родители подносили стакан бражки, самогона, водки — кто что мог...

Учитывая, что очередь до меня дошла только во второй половине дня, священник уже с трудом держался на ногах. Мама, Клавдия Васильевна, и отец, Николай Игнатьевич, подали ему меня, священник опустил в эту бадью, а вынуть забыл, давай о чем-то с публикой рассуждать и спорить... Родители были на расстоянии от этой купели, не поняли сначала, в чем дело. А когда поняли, мама, крича, подскочила и поймала меня где-то на дне, вытащила. Откачали... Не хочу сказать, что после этого у меня сложилось какое-то определенное отношение к религии — конечно же, нет. Но тем не менее такой курьезный факт был. Кстати, батюшка сильно не расстроился. Сказал: ну, раз выдержал такое испытание, значит, самый крепкий, и нарекается у нас Борисом.

Детство было тяжелое. Еды не было. Страшные неурожаи. Всех позагоняли в колхоз — тогда было поголовное раскулачивание. К тому же кругом орудовали банды, почти каждый день перестрелки, убийства, воровство. Мы жили бедновато. Домик небольшой, корова. Была лошадь, но и она вскоре пала. Так что пахать было не на чем. Как и все, вступили в колхоз.., В 35-м году, когда уже и корова сдохла и стало совсем невмоготу, дед, ему было уже около шестидесяти, начал ходить по домам класть печки. Он, кроме того что пахарем был, умел столярничать, плотничать, в общем, на все руки мастер. Отец тогда решил все-таки податься куда-то на стройку, чтобы спасти семью. Рядом, в Пермской области, на строительстве Березниковского калийного комбината требовались строители, — туда и поехали. Сами запряглись в телегу, побросали последние вещички, что были, — и на станцию, до которой шагать 32 километра. Оказались в Березниках. Отец завербовался на стройку рабочим. Поселили нас в барак — типичный по тем временам да и сохраняющийся кое-где еще и сегодня, — дощатый, продуваемый насквозь. Общий коридор и двадцать комнатушек, никаких, конечно, удобств, на улице туалет, вода — из колодца. Дали нам кое-что из вещей, мы купили козу. Уже родился у меня брат, родилась младшая сестренка. Вот мы вшестером, вместе с козой, все на полу, прижавшись друг к другу, и спали. С шести лет, собственно, домашнее хозяйство было на мне. И за младшими ребятишками ухаживать — одну в люльке качать, за другим следить, чтобы не нахулиганил, и по хозяйству — картошку сварить, посуду помыть, воды принести...

Мать, которая с детства научилась шить, работала швеей, а отец рабочим на стройке. У мамы мягкий, добрый характер, она всем помогала, обшивала всех — кому надо юбку, кому платье, то родным, то соседям. Ночью сядет и шьет. Денег за работу не брала. Просто если кто полбулочки хлеба или еще что-нибудь из еды принесет — на том и спасибо. А у отца характер был крутой, как у деда. Наверное, передалось это и мне.

Постоянно из-за меня у них с мамой случались споры. У отца главным средством воспитания был ремень, и за провинности он меня здорово наказывал. Если что-то где случалось — или у соседа яблоню испортили, или в школе учительнице немецкого языка насолили, или еще что-нибудь — ни слова не говоря, он брался за ремень. Всегда происходило это молча, только мама плакала, рвалась: не тронь! — а он двери закроет, приказывает: ложись. Лежу, рубаха вверх, штаны вниз, надо сказать, основательно он прикладывался... Я, конечно, зубы сожму, ни звука, это его злило, но все-таки мама врывалась, отнимала у него ремень, отталкивала, вставала между нами. В общем, она была вечной защитницей моей.

Отец все время что-то изобретал. Например, мечтал сконструировать автомат для кирпичной кладки, рисовал его, чертил, придумывал, высчитывал, опять чертил, это была его какая-то голубая мечта. До сих пор такой автомат никто не изобрел, к сожалению, хотя и сейчас целые институты ломают над этим головы. Он мне все рассказывал, что это будет за автомат, как он будет работать: и кирпич укладывать, и раствор затирать, и передвигаться как будет, — все у него было в голове задумано, в общих схемах нарисовано, но в металле осуществить свою идею ему не удалось.

Отец скончался в 72 года, хотя все деды, прадеды жили за девяносто, а маме сейчас 83, она живет с моим братом в Свердловске, брат работает на стройке, рабочим.

Просуществовали мы таким образом в бараке десять лет. Как это ни странно, но народ в таких трудных условиях был как-то дружен. Учитывая, что звукоизоляции... — впрочем, тогда такого слова не знали, а соответственно, ее и не было, в общем, если в любой из комнат было веселье — то ли именины, то ли свадьба, то ли еще что-нибудь, заводили патефон, пластинок было 2 — 3 на весь барак, как сейчас

помню, особенно: «Щорс идет под знаменем, командир полка...» — пел весь барак. Ссоры, разговоры, скандалы, секреты, смех — весь барак слышит, все всё знают.

Может, потому мне так ненавистны эти бараки, что до сих пор помню, как тяжело нам жилось. Особенно зимой, когда негде было спрятаться от мороза, — одежды не было, спасала коза. Помню, к ней прижмешься, она теплая, как печка. Она нас спасала и во время войны. Все-таки жирное молоко; хотя она и давала меньше литра в день, но детям хватало, чтобы выжить.

Ну и, конечно, уже тогда подрабатывали. Мы с мамой каждое лето уезжали в какой-нибудь ближайший колхоз: брали несколько гектаров лугов и косили траву, скирдовали, в общем, заготавливали сено — половина колхозу, половина себе. А свою долю продавали, чтобы потом за 100 — 150 рублей, а то и за 200 купить буханку хлеба.

Вот, собственно, так детство и прошло. Довольно безрадостное, ни о каких, конечно, сладостях, деликатесах и речи не было: только бы выжить...

Школа. Своей активностью, напористостью я выделялся среди ребят, и так получилось, что с первого класса и до последнего, хотя учился я в разных школах, всегда меня избирали старостой класса. С учебой всегда было все в порядке: одни пятерки, а вот с поведением — тут похвалиться труднее, не один раз оказывался на грани того, что со школой придется распрощаться. Все годы был заводилой, что-нибудь да придумывал.

Скажем, это случилось в классе пятом, со второго этажа школы, из кабинета вниз все выпрыгнем, классная (ее мы не любили) заходит, а нас нет — класс пустой. Она сразу к дежурному, он говорит: да нет, никто не выходил. Рядом со школой сарайчик был, мы там располагались и друг другу всякие истории рассказывали. Потом возвращались, а уже каждому кол поставлен, прямо так — лист журнальный и кол, кол, кол сверху донизу. Мы — протест. Давайте, говорим, спрашивайте нас, за поведение, действительно, наказывайте, а предмет мы выучили. Приходит директор, собирает целый консилиум, спрашивают нас часа два. Ну, мы, конечно, все назубок выучили, кого ни вызывают, все отвечают, даже те, кто неважно учился. В общем, перечеркнули эти колы, но, правда, за поведение нам поставили двойки. Случались и, прямо скажу, хулиганские выходки. Мы тогда заведенные в отношении немцев были, а изучали немецкий язык. И нередко просто издевались над учительницей немецкого языка. Потом-то, когда вырос, мне уж было стыдно: хорошая учительница, умная, знающая, а мы в те времена в знак мальчишеского протеста ее просто мучили. Например, патефонные иголки в стул снизу вбивали, вроде, на первый взгляд, незаметно, но они торчат. Учительница садилась, раздавался крик. Мы следили, чтобы иголки чуть-чуть торчали, но все равно на них, естественно, не усидишь. Опять скандал, опять педсовет, опять родители.

Или вот еще наши проказы. Речушка была, Зырянка, весной она разливалась и становилась серьезной рекой — по ней сплавляли лес. И мы придумали игру, кто по этому сплавляемому лесу перебежит на другой берег. Бревна шли плотно, так что если все точно рассчитаешь, то шанс перебраться на другой берег был. Хотя ловкость нужна для этого неимоверная. Наступишь на бревно, оно норовит крутануться, а чуть замедлил секунду — уходит вниз под воду, и нужно, быстро прыгая с одного бревна на другое, балансируя, передвигаться к берегу. А чуть не рассчитал — бултых в ледяную воду, а сверху бревна, они не позволяют голову над водой поднять; пока сквозь них продерешься, воздух глотнешь, уже и не веришь, что спасен. Вот такие игры придумывали.

Еще у нас бои проходили — район на район, человек по шестьдесят, сто дрались. Я всегда участвовал в этих боях, хотя и попадало порядочно. Когда стенка на стенку, какой бы ловкий и сильный ты ни был, все равно в конце концов по голове перепадет. У меня переносица до сих пор как у боксера: оглоблей саданули. Упал, думал: конец, — в глазах потемнело. Все-таки очухался, пришел в себя, дотащили меня до дома... До смертельных исходов дело не доходило, мы хоть и с азартом дрались, но все-таки некие рамки соблюдались. Скорее, это было спортивное состязание, но на очень жестких условиях.

Однажды меня из школы все-таки выгнали. Это произошло после окончания семилетки. В зале собрались родители, преподаватели, школьники, настроение веселое, приподнятое. Каждому торжественно вручают свидетельство. Все шло по привычному сценарию... И тут вдруг я попросил слово. Почти как на октябрьском Пленуме ЦК. Ни у кого не было сомнений, что я выйду и скажу слова благодарности и все такое прочее, все-таки экзамены сдал отлично, в свидетельстве одни пятерки, поэтому меня сразу пустили на сцену. Я, конечно, сказал добрые слова тем учителям, которые действительно дали нам немало полезного в жизни, развивали привычку думать, читать. Ну а дальше я заявляю, что наш классный руководитель не имеет права быть учителем, воспитателем детей — она их калечит.

Учительница была кошмарная. Она могла ударить тяжелой линейкой, могла поставить в угол, могла унизить парня перед девочкой и наоборот. Заставляла у себя дома прибираться. Для ее поросенка по всей округе класс должен был искать пищевые отбросы, ну и так далее... Я этого, конечно, никак не мог стерпеть. Ребята отказывались ей подчиняться, но некоторые все-таки поддавались.

Короче, на том торжественном собрании я рассказал, как она издевалась над учениками, топтала достоинство ребят, делала все, чтобы унизить любого ученика — сильного, слабого, среднего. Одним словом, очень резко обрушился на нее. Скандал, переполох. Все мероприятие было сорвано.

На следующий день — педсовет, вызвали отца, сказали ему, что свидетельство у меня отнимают, а вручают мне так называемый «волчий билет», такой беленький листочек бумажки, где вверху написано, что прослушал семилетку, а внизу — «без права поступления в восьмой класс на территории страны». Отец пришел домой злой, взялся, как это нередко бывало, за ремень, — и вот тут я схватил его руку. Первый раз. И сказал: «Все! Дальше я буду воспитывать себя сам». И больше уже никогда в углу не стоял целыми ночами, и ремнем по мне не ходили.

Конечно же, я не согласился с решением педсовета, стал ходить всюду: в районо, гороно... Кажется, тогда первый раз и узнал, что такое горком партии. Я добился создания комиссии, которая проверила работу классного руководителя и отстранила ее от работы в школе. И это абсолютно заслуженно, ей противопоказано было работать с детьми. А мне все-таки выдали свидетельство, хотя среди всех пятерок красовалось «неудовлетворительно» за дисциплину. Я решил в эту школу не возвращаться, поступил в восьмой класс в другую школу, имени Пушкина, о которой у меня до сих пор сохранились теплые воспоминания: прекрасный коллектив, прекрасный классный руководитель Антонина Павловна Хонина. Вот это действительно была настоящая учеба.

Тогда я начал активно заниматься спортом. Меня сразу пленил волейбол, и я готов был играть целыми днями напролет. Мне нравилось, что мяч слушается меня, что я могу взять в неимоверном прыжке самый безнадежный мяч. Одновременно занимался и лыжами, и гимнастикой, и легкой атлетикой, десятиборьем, боксом, борьбой, хотелось все охватить, абсолютно все уметь делать. Но в конце концов волейбол пересилил все, и им я уже занялся серьезно. Все время находился с мячом, даже ложась спать: засыпал, а рука все равно оставалась на мяче. Просыпался, и сразу тренировка: то на пальце мяч кручу, то об стенку, то об пол. У меня нет двух пальцев на левой руке, поэтому трудности с приемом мяча были, и я специально отрабатывал собственный прием, особое положение левой руки, — и у меня своеобразный, неклассический прием мяча.

А с потерей двух пальцев случилась вот какая история.

Война, все ребята стремились на фронт, но нас, естественно, не пускали. Делали пистолеты, ружья, даже пушку. Решили найти гранаты и разобрать их, чтобы изучить и понять, что там внутри. Я взялся проникнуть в церковь (там находился склад оружия). Ночью пролез через три полосы колючей проволоки и, пока часовой находился на другой стороне, пропилил решетку в окне, забрался внутрь, взял две гранаты РГД-33 с запалами и, к счастью, благополучно (часовой стрелял без предупреждения) выбрался обратно. Уехали километров за шестьдесят в лес, решили гранаты разобрать. Догадался все же уговорить ребят отойти метров за сто: бил молотком, стоя на коленях, а гранату положил на камень. А вот запал не вынул, не знал. Взрыв... и пальцев нет. Ребят не задело. Пока добирались до города, несколько раз терял сознание. В больнице под расписку отца (началась гангрена) сделали операцию, пальцы отрезали, в школе я появился с перевязанной рукой...

В летние каникулы я организовывал ребят на какое-нибудь путешествие: найти исток реки, или куда-нибудь на Денежкин камень, или что-то в подобном духе. В общем, сотни километров с рюкзаками, жизнь в тайге по нескольку недель.

Так случилось, что после девятого класса мы решили разузнать, откуда берет свое начало река Яйва. Очень долго поднимались по тайге вверх — по карте мы представляли, что исток реки находится около Уральского хребта... Запасы еды у нас скоро кончились, питались тем, что находили в тайге. Поспели орехи; жарили грибы, ели ягоды. Лес уральский очень богатый. Прожить там, конечно, можно какое-то время. Шли долго, уже никаких дорог, ничего, одна тайга... Иногда попадалась какая-нибудь охотничья избушка, там ночевали, а в основном или шалаш строили, или просто под открытым небом устраивались.

Нашли исток реки — сероводородный ключ. Обрадовались. Можно было возвращаться. Несколько километров спускались вниз до первой деревушки. К тому времени уже порядочно выдохлись. Собрали кто что мог — рюкзак, рубашку, ремень, — в общем, все, что было у нас, вошли в избушку, отдали хозяину, выпросили у него взамен небольшую лодочку-плоскодонку и на ней — вниз по реке, сил идти уже не было. Места были красивые, да они и сейчас там прекрасные, люди не смогли все испортить за

это время. Плывем мы, вдруг вверху, в горах заметили пещеру, решили остановиться, посмотреть. Вошли. Вела она нас, вела и вдруг вывела куда-то в глубь тайги. Туда-сюда — не можем понять, где мы; короче говоря, заблудились, потеряли нашу лодочку. Почти неделю бродили по тайге, ничего, конечно, с собой не взяли, а тут, к несчастью, оказалось болотистое место, лес-подросток, он немного давал пропитания, и совершенно не оказалось воды. Болотную жижу вместе со мхом складывали в рубашку, отжимали ее, и ту жижу, что текла из рубашки, пили.

В конце концов мы все-таки вышли к реке, нашли нашу плоскодонку, сориентировались, но от грязной воды у нас начался брюшной тиф. У всех. Температура — сорок с лишним, у меня тоже, но я на правах, так сказать, организатора держусь. На руках перетащил ребят в лодку, уложил на дно, а сам из последних сил старался не потерять сознание, чтобы лодкой хоть как-то управлять — она шла вниз по течению. У самого оставались силы только подавать ребятам из речки воду, обрызгивать их — было все на жаре. Они потеряли сознание, а скоро и я стал впадать в беспамятство. Около одного железнодорожного моста решил, что все равно нас заметят, примкнул к берегу и сам рухнул. Нас действительно увидели, подобрали, привезли в город; а уж месяц, как занятия в школе начались, и конечно, все разыскивали нас.

Мы пролежали в больнице почти три месяца с брюшным тифом. Лекарств особых не было. Ну, а тут десятый класс, последний, выпускной, а я практически ни разу за парту не сел. Но начиная с середины учебного года, то есть с третьей четверти, я начал заниматься. Взял программу десятого класса. Очень много читал и учил, буквально день и ночь. И когда начались выпускные экзамены, пошел сдавать. А мои друзья, участники того драматического похода, решили просто десятый класс пропустить.

Пришел в школу сдавать экзамены, а мне говорят, что нет такой формы, не бывает экстерна в выпускном классе, и что я могу гулять. Опять пришлось идти по проторенному пути: районо, гороно, исполком, горком. Тогда я уже выступал за сборную города по волейболу. К счастью, меня знали, был чемпионом города среди школьников по нескольким видам спорта, чемпионом области по юлейболу. Короче, разрешили сдать экстерном — правда, всех пятерок мне не удалось получить, по двум предметам поставили четверки. Вот с таким багажом я должен был поступать в институт.

Подростком мечтал поступить в судостроительный институт, изучал корабли, пытался понять, как они строятся, причем сел за серьезные тома, учебники. Но как-то постепенно привлекла меня профессия строителя, наверное потому, что я и рабочим уже поработал, и отец строитель, а он к тому моменту кончил курсы мастеров и стал мастером, начальником участка.

Прежде чем поступать в Уральский политехнический институт на строительный факультет, мне предстояло пройти еще один экзамен. Состоял он в том, что мне надо было поехать к деду, ему тогда уже было за семьдесят, это такой внушительный старик, с бородищей, с самобытным умом, так вот он мне сказал: «Я тебя не пущу в строители, если ты сам, своими руками, что-нибудь не построишь. А построишь ты мне баньку. Небольшую, во дворе, с предбанничком».

И действительно, у нас никогда не было баньки; у соседей была, а у нас нет, все не было возможности построить. А дед продолжает: «Но только так — все строить будешь один, стало быть, от начала до конца. За мной только — с леспромхозом договориться, чтобы отвели делянку, а дальше опять ты сам — и сосны спилить, и мох заготовить, и обчистить, и обсушить, и все эти бревна на себе перетащить, а это километра три — до того места, где надо строить баньку, сделать фундамент и сруб от начала до конца, до верхнего венца. Вот. Я, — говорит, — к тебе даже близко не подойду». И действительно, ближе чем на десять метров он так и не подошел — упорный был дед, упрямый, пальцем не шевельнул, чтобы мне помочь, хотя я, конечно, мучился невероятно. Особенно когда уже верхние венцы надо было поднимать, тащить, цепляя веревкой, топором аккуратно подработать, выложить венец, на каждом бревне поставить номер, а когда полностью закончил, все рассыпать, потом заново собрать, уже подкладывая высушенный мох. А весь этот мох нужно было еще проштыковать как следует. Ну, в общем, все лето я трудился, только-только хватило времени на приемные экзамены поспеть в Свердловск. В конце дед мне сказал серьезно, что экзамен я выдержал и теперь вполне могу поступать на строительный факультет.

Хоть и не готовился я специально — из-за того, что эту самую баньку строил, — но поступил сравнительно легко: две четверки, остальные пятерки. Началась студенческая жизнь, бурная, интересная. С первого курса окунулся в общественную работу. По линии спортивной — председатель спортивного бюро, на мне — организация всех спортивных мероприятий. Волейболом тогда уже занимался на достаточно высоком уровне, стал членом сборной города, а через год участвовал в составе сборной Свердловска в играх высшей лиги, где играло двенадцать лучших команд страны. Все пять лет, пока я был в институте, играл, тренировался, ездил по стране, нагрузки были огромные... Занимали,

правда, мы шестое-седьмое места, чемпионами не стали, но все воспринимали нас серьезно.

Волейбол действительно оставил в моей жизни большой след, поскольку я не только играл, но потом и тренировал четыре команды: вторую сборную Уральского политехнического института, женщин, мужчин, — в общем, у меня уходило на волейбол ежедневно часов по шесть, и учиться (а поблажек мне никто не делал) приходилось только поздно вечером или ночами, уже тогда я приучил себя мало спать, и до сих пор как-то к этому режиму привык и сплю по 3,5 — 4 часа...

До поступления в институт страны я не видел, моря тоже, и вообще нигде не был. Поэтому в летние каникулы решил совершить путешествие по стране. Без копейки денег, минимум одежды: только спортивные брюки, спортивные тапочки, рубашка и соломенная шляпа — вот в таком экзотическом виде я покинул Свердловск. Еще, правда, у меня был из искусственной кожи чемоданчик — маленький, буквально сантиметров двадцать на тридцать. Выпускались такие. Там лежала еще одна рубашка, ну и если что-нибудь удавалось из продуктов где-то заработать — я туда же складывал. Поездка эта, конечно, была совершенно необычной. Со мной сначала поехал однокурсник, но через сутки он уже понял, что ему наше путешествие не осилить, и вернулся обратно. А я поехал дальше.

В основном на крыше вагона, иногда в тамбуре, иногда на подножке, иногда на грузовике. Не раз, конечно, милиция снимала: спрашивают, куда едешь? Я говорю, допустим, в Симферополь, к бабушке. На какой улице проживает? Я всегда знал, что в любом городе есть улица Ленина, поэтому называл безошибочно. И отпускали меня...

А задачу я себе такую ставил: ночь еду, приезжаю в какой-то город — выбирал, естественно, города известные — и осматриваю целый день, а иногда и два. Переночую в парке или на вокзале — и дальше в путь на крыше вагона. Из каждого нового города писал письмо в институт своим ребятам.

И вот такой у меня получился маршрут: Свердловск — Казань — Москва — Ленинград — снова Москва — Минск — Киев — Запорожье — Симферополь — Евпатория — Ялта — Новороссийск — Сочи — Сухуми — Батуми — Ростов-на-Дону — Волгоград — Саратов — Куйбышев — Златоуст — Челябинск — Свердловск. Этот путь я проделал за два с лишним месяца, приехал, конечно, оборванный, спортивные тапочки без подошв, просто для, так сказать, формы и красоты: идешь на самом деле босиком, а всем кажется, что в тапочках. Шляпа тоже насквозь прохудилась, ее пришлось выбросить. Спортивные штаны основательно просвечивали. Когда выезжал, были у меня еще и часы старинные, большие, подарил мне дед. Но эти часы, как и всю одежду, я проиграл в карты. Буквально в первые дни, как только выехал из дома.

Было это так. В стране шла амнистия, заключенные возвращались на крышах вагонов, и однажды они ко мне пристали, их было несколько человек, и говорят: давай играть в «буру». А я знать не знал вообще эти карты, в жизни не играл и сейчас терпеть не могу. Ну, а в такой обстановке не согласиться было нельзя. Они говорят: давай играть на одежду. И очень скоро они меня раздели до трусов. Все выиграли. А в конце говорят: «Играем на твою жизнь. Если ты сейчас проигрываешь, то мы тебя на ходу скидываем с крыши вагона — и все, и привет. Найдем такое место, чтоб ты уже основательно приземлился. А если выиграешь, мы тебе все отдаем». Что дальше произошло, сейчас мне сложно понять: или уже я стал понимать в этой «буре» кое-что, потому как опыт приобрел, постепенно проигрывая то шляпу, то рубашку, то тапочки, то спортивные штаны, или потому, что они вдруг пожалели меня, что-то человеческое проснулось в них, — а это были уголовники, выпущенные из колонии, в том числе и убийцы. В Свердловской области таких колоний порядочно. В общем, я выиграл. До сих пор не могу понять, как это случилось. Все они вернули, кроме часов. После той игры они меня больше уже не трогали, даже зауважали. Сбегают за кипяточком — поделятся. Кое-кто даже кусок хлеба давал. Не доезжая до Москвы, они все разбежались, потому что знали: через столицу им не проехать, — потом я ехал на крыше в основном один.

Помню, в Запорожье, когда уже совсем оголодал, случайно встретился с одним полковником, он и говорит: «Мне надо поступить в институт, а я ни бельмеса не понимаю в математике. Давай ты меня по математике поднатаскаешь, так, чтобы я сдал экзамены». Он прошел войну, немало привез, видимо, оттуда, потому что квартирка его была богато обставлена. Я поставил условие: работать, кроме трех-четырех часов сна, по двадцать часов. Полковник засомневался: выдержим ли? Я говорю: иначе за неделю не подготовиться. С моей стороны было еще условие — меня кормить. Причем кормить хорошо. Жена его не работала, так что она старалась изо всех сил. Он честно выполнил наш договор. Я впервые за все время наелся. И даже прибавил в весе. А полковник оказался человеком настойчивым, с характером, выдержал тот темп уроков, который я ему задал, а потом я узнал, что в институт он поступил, сдал по математике экзамен. А я поехал дальше.

Вот таким необычным оказалось это путешествие.

Учеба в институте продолжалась своим чередом. Получал я на экзаменах в основном пятерки, хотя очень много времени отнимал волейбол, тренировки, поездки на соревнования. И никаких, как это теперь бывает, поблажек за спортивные успехи не было. Пожалуй, даже наоборот, некоторые преподаватели гоняли на экзаменах больше других, ревниво относясь к моим спортивным увлечениям и считая, что волейбол отвлекает меня от серьезной науки. Однажды профессор Рагицкий на экзамене по теории пластичности предложил мне: «Товарищ Ельцин, возьмите билет и попробуйте без подготовки, вы у нас спортсмен, чего вам готовиться?» А у всех на столах тетради, записи. Дело в том, что в теории пластичности есть некоторые формулы, которые писать надо не на одной странице, запомнить невозможно. Разрешалось пользоваться учебником и конспектами. Профессор решил поставить надо мной эксперимент. Долго мы с ним сражались. Но поставил он мне все-таки четверку, жалко. Хотя относился ко мне хорошо. Я однажды задачку решил, очень трудную, которую у него среди студентов лет десять до меня никто осилить не мог. Поэтому он воспылал ко мне такой любовью. Профессор был человеком необычайно интересным, умным, талантливым, мы относились к нему с огромным уважением. И тем не менее вот так я получил эту злосчастную четверку.

Однажды мой любимый волейбол чуть не свел меня в могилу. В какой-то момент, тренируясь по шесть-восемь часов и занимаясь предметами по ночам, видимо, я перенапрягся. А тут как назло заболел ангиной, температура сорок, а я все равно пошел на тренировку, ну и сердце не выдержало. Пульс сто пятьдесят, слабость, меня отвезли в больницу. Сказали: лежать и лежать, тогда есть шанс, что месяца через четыре минимум сердце восстановится, а иначе — порок сердца. Из больницы я сбежал уже через несколько дней, ребята организовали мне из простыней что-то типа каната, я с верхнего этажа спустился и уехал в Березники, к родителям. И там начал потихоньку восстанавливаться, хотя чуть встанешь — мотает из стороны в сторону, стоишь, а сердце выскакивает. Очень скоро я все-таки стал добираться до спортивного зала, на несколько минут выходил на площадку, пару раз мяч возьмешь — и все, валишься. Меня ребята оттащат к скамейке, и я лежу. Это была тупиковая ситуация, думал, не вырвусь уже, так сердце и останется больным и спорта мне больше не видать. Но все равно стремился только в бой и только вперед. Сначала на площадку на одну минуту выходил, потом на две, на пять, и через месяц мог проводить всю игру. Когда вернулся в Свердловск, пришел к врачу, он говорит: «Ну вот, хоть вы и сбежали, но чувствуется, что вы все время лежали, не вставая, сердце у вас сейчас в полном порядке». Надо честно признаться, риск, конечно, был колоссальный, потому что мог сердце погубить навсегда. Но я считал, что надо его не жалеть, а напротив, нагружать как следует и клин клином вышибать.

Диплом пришлось вместо пяти месяцев писать всего один: был все время в разъездах, шло первенство страны, самый его разгар, команда переезжала из города в город. Когда вернулся в Свердловск, оставался месяц до защиты. Тема дипломной работы: «Телевизионная башня». Тогда их почти не было, поэтому до всего нужно было доходить самому. До сих пор не понимаю, как мне это удалось. Столько умственных, физических сил я потратил, это было невероятно. Причем тут и особо помочь-то никто не может, тема новая, никому не известная — чертишь сам, расчеты делаешь сам, все от начала и до конца — сам. И все-таки защитил диплом, получил «отлично».

Так кончилась моя студенческая жизнь, но мы договорились в нашей группе — очень дружной, сильной, подобрались прекрасные ребята и девчата, — что каждые пять лет будем вместе проводить отпуск. И после 55-го года, когда мы закончили институт, прошло 34 года, и ни разу еще эта традиция не нарушилась! А один раз мы собрались даже с детьми, на эту встречу приехало уже 87 человек. Ни в коем случае не в санатории, а только диким образом; мы прошли по тайге, по Уралу, по Золотому Кольцу, однажды купили путевки на пароход — и проехались по Каме, Волге. Другой раз жили в Геленджике, на берегу моря в палаточном городке, однажды плавали по Енисею до острова Диксон. Все время придумывали новые варианты, и всегда они были интересные и веселые. И до сих пор мы очень дружны, а сейчас готовимся вместе провести свой отпуск в 1990 году. Каждый раз создается оргкомитет, который готовит очередную нашу встречу. Три первые пятилетки я был председателем оргкомитета, а потом, когда стал первым секретарем обкома партии, меня друзья решили от этого освободить, поскольку и так была слишком большая нагрузка.

У нас сложились удивительно теплые и искренние отношения. Можно привести один факт. Когда произошла драматичная ситуация после октябрьского Пленума ЦК 87-го года, они все откликнулись, чтобы поддержать меня. Конечно, это настоящие друзья...

19 февраля 1989 года.

Начало положено. Мне удалось пройти сито окружного собрания. И теперь только от народа зависит: буду я избран или нет. Это уже победа. Еще не окончательная, но почти победа.

Меня выдвинули чуть ли не в двухстах округах. И в основном поддержали крупные заводы, предприятия, многотысячные коллективы. Не буду никак комментировать эти цифры.

Но эти выдвижения ни о чем еще не говорили. Окружные собрания, которые организует, проводит и держит в своих руках аппарат, позволяли избавляться от любой неподходящей кандидатуры. Большую часть этих собраний составляли так называемые представители трудовых коллективов, в основном партийные секретари, их замы и другие хорошо, до запугивания, проинструктированные члены коллективов. Естественно, управлять такой аудиторией никакого труда не составляло, и со всех уголков страны в адрес Центральной избирательной комиссии летели протесты, в которых сообщалось, что окружные собрания узурпировали у народа право на реальные выборы. Создатели, сценаристы этого спектакля под названием «Выборы народных депутатов СССР» только потирали руки, радуясь, как удачно реализуются их выстраданные задумки.

И все-таки они просчитались. Не везде их план удался. Как-то не сообразили они, что и секретарь парткома может заартачиться и проголосовать по-своему, как совесть подсказывает, и даже послушный член коллектива в бюллетене может оставить совсем не ту кандидатуру, которую от него требовали.

Первое окружное собрание, в котором я решил принять участие, проходило в городе Березники Пермской области. В этом городе я когда-то жил, есть люди, которые помнят меня, да и фамилию Ельцин тоже — отец долго проработал здесь. В общем, несколько коллективов города выдвинули меня кандидатом в депутаты. И шанс пройти здесь большой. Если только партийным органам не удастся полностью задушить окружное собрание.

И я решил сделать не совсем обычный ход. После того как из Москвы улетел последний самолет на Пермь, я вылетел в Ленинград, там уже ждали товарищи, болеющие и переживающие за меня, они перевезли меня на военный аэродром, и здесь тоже были мои, так сказать, бескорыстные помощники. На грузовом винтовом самолете, гремящем и тарахтящем так, что я чуть не оглох, в обнимку то ли с крылатой ракетой, то ли со снарядом, я улетел в Пермь. Рано утром мы приземлились, здесь меня уже ждали доверенные лица, и очень скоро я очутился прямо на окружном собрании — успел к самому его началу. Мое появление вызвало шок у организаторов, так как из обкома партии прилететь и что-то изменить уже не успевали. Я выступил со своей программой, ответил на записки, вопросы, все прошло прекрасно, и, когда началось голосование, я, честно говоря, уже не волновался. По всей атмосфере было видно, что мне удастся сегодня преодолеть этот первый барьер на пути к избранию. Получил я подавляющее большинство голосов, можно было возвращаться в Москву.

Дальше начались окружные собрания в столице. Несмотря на свою победу в Березниках, я решил принимать участие в московских территориальных окружных собраниях. Мне хотелось почувствовать их атмосферу, разобраться в механизме влияния власти на людей. Это была для меня прекрасная школа.

Кстати, я специально снимал свою кандидатуру там, где пересекался в одном округе с кем-нибудь из достойных, честных, уважаемых мною людей. Например, в Октябрьском районе баллотировался А. Сахаров, я позвонил ему и сказал, что сниму свою кандидатуру в его пользу. Он, правда, в конце концов был избран через Академию наук СССР, общественную организацию.

Каждое окружное собрание дарило мне какой-то новый опыт. Там, где зал был настроен особенно отчужденно, мне даже было как-то интереснее бороться за него. Буквально на глазах люди преодолевали свое почти гипнотическое состояние трепета перед руководством и дирижирующим ими президиумом.

Помню, показательным в этом отношении было окружное собрание в Гагаринском районе столицы. Среди его участников оказались очень сильные кандидаты — писатель-публицист Юрий Черниченко, военный историк, генерал Дмитрий Волкогонов, кинорежиссер Эль-дар Рязанов, космонавт Алексей Леонов и другие, всего десять кандидатов. Каждый в своем выступлении попросил собрание зарегистрировать всех кандидатов, чтобы на выборах народ уже сам решил, за кого ему голосовать.

И поскольку выступление каждого кандидата было мощным, эмоциональным, убедительным -«- зал начал ломаться, дробиться и в конце концов почти весь готов был отказаться от предоставленного ему права по отсеву неугодных.

Что же тут началось! Президиум просто измывался над людьми, придумывая одну уловку за другой, лишь бы это решение — оставить всех — не прошло. Всегда веселый, довольный и оптимистичный Эльдар Рязанов готов был взорваться от гнева, к микрофону подбегали выборщики и клеймили позором президиум, люди уже почти скандировали: требуем регистрации всех кандидатов! Это издевательство над всеми, борьба зала с проинструктированным, запрограммированным руководством собрания

продолжались до двух часов ночи, и в конце концов люди победили. В избирательные бюллетени были включены все кандидатуры. Я уезжал с этого окружного собрания обнадеженным: все-таки справедливость, здравый смысл восторжествовали, — и одновременно с тяжелыми чувствами. Какая же страшная, безжалостная машина власти висит над нами. Изощренная и чудовищная конструкция, созданная Сталиным и сталинщиной.

«Скажите, это правда, что после окончания института Вы пошли работать на стройку рабочим? Зачем Вам это надо было?»

«Говорят, что Вас в Свердловске отдавали под суд. Расскажите, как это было».

(Из записок москвичей во время встреч, митингов, собраний)

После защиты диплома через час я уже сидел в поезде, ехал в Тбилиси на игры первенства страны. Так получилось, что все лето после института я ездил по. соревнованиям: то первенство страны, то вузовский турнир в Ленинграде, то кубок страны в Риге. Вернулся 6 сентября и пошел оформляться на работу, куда меня направили по распределению, в трест «Уралтяжтрубстрой».

Как всякому выпускнику вуза, мне предложили должность мастера на строительстве промышленных объектов. Я сказал, что мастером пока работать не пойду. Когда учился, пришел к выводу, что хотя и сильный состав преподавателей в Уральском политехническом институте, тем не менее некоторые профессора, доценты — те, кто был оторван от производства, — слишком академично преподавали свои дисциплины, не связывая их с реальной жизнью. Поэтому сразу руководить стройкой, людьми, не пощупав все своими руками, — я считал большой ошибкой. По крайней мере, точно знал, что мне будет очень трудно, если любой бригадир, с умыслом или без, сможет обвести меня вокруг пальца, поскольку знания его непосредственно связаны с производством.

Поэтому я решил для себя, что год посвящу тому, чтобы освоить двенадцать строительных специальностей. Каждый месяц — по одной. Месяц я проработал наравне с другими рабочими в бригаде каменщиков, вел кирпичную кладку — сначала простую, потом посложнее.

Работал не по одной смене, а по полторы-две, для того чтобы быстрее наработать опыт. Рабочие хоть и посмеивались над жаждой молодого специалиста пойти, так сказать, в народ, тем не менее помогали, подбадривали, в общем, внутренне поддерживали.

Месяц я работал, а после этого соответствующая комиссия присваивала разряд, обычно третий-четвер-тый. Вскоре я получил профессию каменщика, бетонщика. Кстати, очень тяжело мне давалась именно работа бетонщика, хотя я физически вроде крепкий, но по очень узким и высоким лесам быстро бежать с тачкой жидкого бетона было сложно. Если ее накренить, то сразу центр тяжести перемещается, и несколько раз я вместе с тачкой летел метра три вниз; к счастью, все кончалось благополучно, потом все-таки я и это дело освоил. Затем получил профессию плотника; месяц возил бетон на автосамосвале «ЗИС-585». Кстати, был один момент, когда я вез бетон (прав у меня тогда еще не было), и этот «ЗИС», — был он не новенький, тысяч триста с лишним уже прошел, — заглох точно на переезде железной дороги. Я слышу: идет поезд, причем на хорошем ходу. Переезд был неохраняемый, свободный.

Поезд уже вот-вот должен был настигнуть, разнести вдребезги и машину, и меня вместе с ней. Тут я, к счастью, вспомнил о стартере. Когда стартер включишь, то машина начинает как бы дергаться. И вот несколько таких буквально лихорадочных рывков, а поезд уже подает сигналы, начинают визжать, скрипеть тормоза, но чувствую, что ему не затормозить, он уже надвигается на меня всей своей огромной массой. А я все включаю стартер, дергаю, дергаю машину, и она на несколько сантиметров сошла с рельсов, — поезд, чуть-чуть не задев, пронесся мимо...

Я вышел из машины, сел на бровку кювета и долго не мог отдышаться. Потом все-таки довез бетон, рассказал ребятам о том, как чуть не угробился, они говорят, молодец, все правильно делал. Или надо было выскакивать, — но тогда пришлось бы отвечать за машину. Стоит она дорого, а я никаких накоплений не имел. И сейчас не имею. Пять рублей со студенческих лет символически на сберегательной книжке до сих пор у меня лежат. И все.

Затем — плотник, столяр, стекольщик, штукатур, маляр — все это, конечно, тяжело было освоить, но такую задачу я себе поставил.

Работая машинистом на башенном кране, я пережил еще один эпизод, стоивший мне больших нервов. Строили жилой дом для «Уралхиммаша». Уходя с работы, вроде все проверил, кран обесточил, он назывался БКСМ-5,5А. Но одну операцию я пропустил. По окончании работы кран должен

обязательно крепиться за рельсы специальными зацепами. Этого я не сделал. Или забыл, или еще не изучил, трудно сказать. Жили мы рядом со строящимся домом. Ночью разразился шквал, дождь со страшным ветром. Я проснулся и с ужасом вспомнил про кран. Выглянул в окно, вижу: башенный кран тихо, но движется. В чем я там был, по-моему, в одних трусах, — выскочил, быстрее к крану, в темноте нашел рубильник, включил напряжение. Лихорадочно лезу по узенькой металлической лестнице вверх, а кран медленно ползет к окончанию рельсов. Конечно, грохнулся бы он капитально. Заскочил в кабину, а там тоже темно, ничего не видно, стал лихорадочно думать и правильно сообразил, что надо отпустить с тормоза стрелу. И она сразу повернулась по ветру, перестала парусить, скорость несколько снизилась. Но тем не менее кран все-таки продолжал двигаться. Тогда я переключил движение крана в обратную сторону, и на полную скорость. И, смотрю, кран начал потихонечку снижать скорость и остановился в нескольких сантиметрах от конца путей. Это был, конечно, жуткий момент. За мной выскочила жена, кричит: слезай, погибнешь, — а я решил все-таки спасать кран. Остановил эту махину, спустился вниз, установил зацепы. Ну, конечно, уснуть этой ночью мы уже не могли, успокоиться было трудно. Долго еще мне снились сны, как я лезу по башенному крану вверх и падаю вместе с ним.

Вот так я проработал год и получил двенадцать рабочих специальностей. Пришел к своему начальнику участка и сказал, что теперь готов работать мастером. Кидали меня на разные объекты. Строил промышленные цехи Уралхиммаша, железобетонный завод, цехи Верх-Исетского завода, вспомогательные объекты, общежития, жилье, Дворец культуры, детсады, школы, интернаты — в общем, много чего.

Мастером мне работалось довольно легко, хотя, конечно, было всякое. Например, пришлось повоевать с выводиловкой, она живуча. К сожалению, строители к этому привыкли. Когда я начал строго обмерять кирпичную кладку — сколько использовано бетона, сколько того, другого, — возникли сложности. Постепенно все-таки люди стали понимать мою правоту, да и рабочая совесть — это не пустой звук. Дело наладилось.

Когда мастером работал, было немало других сложных, а порой и забавных ситуаций. Например, работали с заключенными. Я сразу решил сломать традицию, когда им выводили такую заработную плату, какую они диктовали, а не ту, что заработана на самом деле. Когда первый месяц закончился, я просчитал объемы и зарплату. Она оказалась в два с лишним раза меньше, чем они привыкли получать.

И вот заходит ко мне в маленькую комнатушку мастера такой громила, с топором в руке, поднимает его, заносит надо мной и говорит: «Закроешь наряды как полагается? Как до тебя, щенок, всегда закрывали?» Я говорю: «Нет». — «Ну тогда, имей в виду, терять мне уже нечего, прибью тебя, и не пикнешь». Я чувствовал по глазам, что он совершенно спокойно грохнет меня по башке, даже не моргнет.

Я мог, конечно, увернуться или попытаться с ним как-то справиться, хотя тесно, комнатка маленькая, — а топор он уже над моей головой занес. И тогда я решил действовать неожиданно. Голос у меня громкий, сильный, да еще в этой комнатушке... И я во все горло как рыкну, причем резко, глядя в глаза: «Пошел вон!» Вдруг он опустил топор, выронил его из рук, повернулся и, согнув спину, молча вышел. Какой винтик у него там сработал, трудно сказать.

Кстати говоря, я всю жизнь терпеть не могу брани, в институте даже со мной спорили, употреблю я или нет за целый год хотя бы одно нецензурное слово. И каждый раз я выигрывал. Поэтому я просто не приучен и сейчас никогда не ругаюсь. То есть сейчас-то тем более.

Начальником участка меня направили на совершенно уникальный объект — камвольный комбинат. Это было огромное семиэтажное здание из смонтированных металлических конструкций, напоминавшее скелет. Стояло оно уже давно, все заржавело, но появилось постановление по развитию легкой промышленности, и решили его достроить. Поручили мне этот сложный объект. Жил я в общежитии на Химмаше, утром шел пешком, а это километров, наверное, десять-двенадцать до работы. В шесть утра выходил и обычно к восьми был на работе.

На этом объекте работало до тысячи человек, а когда город помогал, доходило до двух. Практически работа шла круглосуточно. Зимой строили водонапорную башню — бетонную, это вообще уникальное сооружение, да еще с верхним баком для воды. Бетонирование нельзя было прерывать ни на час, работали с подогретым бетоном, и я сутками не отходил от этой башни. На этом объекте проработал до подписания акта о сдаче камвольного комбината. А когда все сдали и оборудование заработало, корпус вдруг стал шататься, и вся эта металлическая махина с железобетонными плитами перекрытий начала «ходить». Пришлось остановить станки. Я сразу — в Политехнический институт к профессору Бычкову. Сделали вместе расчет всех конструкций и пришли к выводу, что в проекте была ошибка: опоры плит перекрытий оказались совершенно недостаточными для полной устойчивости здания. И

вторую причину мы нашли — прядильные станки установлены по движению только в одном направлении; когда они включены, их амплитуда совпадает с амплитудой вибрации корпуса, и он начинает раскачиваться. Этот вопрос решили довольно просто: переставили станки и вибрацию сняли, а с укреплением опор пришлось повозиться. Надо было вскрыть стыки, армировать, бетонировать и так далее, ну, в общем, намучились изрядно.

Затем меня назначили главным инженером управления № 13. Управляющим был Николай Иванович Ситников — человек оригинальный, мягко говоря, упрямый, злой, и его упрямство доходило иногда до элементарного самодурства. Отношения у нас сложились странные: скажем, он приезжает, нашумит. Но если я считал, что прав я, — не подчинялся, делал по-своему. Это его бесило. Едешь с ним в машине, поспоришь, он останавливает машину где-нибудь на полпути: «Вылезай!» — «Не вылезу. Довезите до трамвайной остановки». Стоим полчаса, стоим час, наконец он не выдерживает, поскольку куда-то опаздывает, хлопает дверкой и везет до трамвая. Или, скажем, вызывает к себе, начинает ругать последними словами: такой-рассякой; что-нибудь не так, хватается за стул, ну, и я тоже, идем друг на друга. Я говорю: «Имейте в виду, если вы сделаете хоть малейшее движение, у меня реакция быстрее — я все равно ударю первым». Вот такие были отношения.

Несколько раз он ставил вопрос в горкоме, чтобы меня сняли с работы, а я уже был начальником управления. С коллективом я неплохо сработался, горком не давал меня уволить, в это время вторым секретарем работал Федор Михайлович Морщаков — человек интересный, умный — он не раз меня выручал.

Однажды управляющий мне в один год объявил семнадцать выговоров — это было рекордом. 31 декабря я собрал все выговоры, пришел к нему, выложил их на стол и сказал: «Только первый выговор в следующем году объявите, и я устрою скандал. Имейте в виду». Второго января я уже имел выговор за то, что мы не работали первого. Первое января — праздник, выходной, но тем не менее, по мнению управляющего, надо было работать. Я решил бороться с этим выговором. Пошел по всем инстанциям. Мне его отменили. И после этого он уже был более осторожен.

Потом он подал на меня в суд. Попытался поймать на неточно сделанной финансовой отчетности. Истцом со стороны треста выступал главный бухгалтер, а я, соответственно, ответчиком. Сижу на скамеечке в районном суде, доказываю, что ничего здесь подсудного и криминального нет. Умный судья, к счастью, оказался. Когда объявлял решение, сказал буквально следующее: «В действиях каждого руководителя может или должна быть доля риска. Главное, чтобы эта доля риска была оправданной. В данном случае в действиях Ельцина риск как раз был оправдан. Поэтому решение суда: Ельцина полностью оправдать, а все издержки суда отнести за счет истца, то есть за счет треста „Южгорстрой"». Это был сильный удар и по главному бухгалтеру, и по управляющему, суд этот вдохновил как-то и меня. Правда, главный бухгалтер не забыл своего унижения и, будучи членом парткома треста, попытался меня ущипнуть во время приема в партию.

Среди многочисленных вопросов на парткоме он задает мне такой: «На какой странице, в каком томе «Капитала» Маркса говорится о товарно-денежных отношениях?» Я, уверенный, что он и в руках не держал Маркса и, конечно, не знает ни тома, ни страницы и вообще понятия не имеет, что такое товарно-денежные отношения, тут же и в шутку и всерьез ответил: «Второй том, страница триста восемьдесят семь». Причем сказал быстро, не задумываясь. На что он глубокомысленно заметил: «Молодец, хорошо знаешь Маркса». В общем, приняли меня.

Самодурство управляющего продолжалось до тех пор, пока меня не направили на работу главным инженером комбината, который был крупнее, чем его трест.

И еще, пожалуй, стоит вспомнить, как мне объявляли строгий выговор с занесением в учетную карточку по партийной линии на бюро городского комитета партии. Я только что стал начальником стройуправления. До меня начальником был жуткий разгильдяй, пьяница, — все, что можно было завалить, он завалил, в том числе и строительство школы-интерната. В сентябре, когда я пришел на его место, шла кладка первого этажа, а должно было быть четыре. То есть объект был похоронен заранее, и никакими усилиями его сдать в конце года было нельзя. И вот в начале года в райкоме меня принимают в партию, выдают партийный билет в торжественной обстановке, а на следующий день — бюро горкома партии по итогам года. Вдруг слышу: давайте, чтобы неповадно другим было, объявим Ельцину строгий выговор с занесением в учетную карточку.

Я вышел на трибуну и говорю: «Товарищи члены бюро (а народу было много), — поймите, вчера только мне вручили партийный билет. Вот он, еще горячий. И сегодня вы предлагаете вынести мне, как коммунисту со стажем всего один день, строгий выговор с занесением в учетную карточку за несдачу интерната. Тут строители есть, они подтвердят — сдать его было просто невозможно». Нет — уперлись:

пусть другим будет неповадно. Ну, Ситников, тоже, видимо, сыграл свою роль. Это был серьезный удар.

Я искренне верил в идеалы справедливости, которые несет партия, так же искренне вступал в партию, досконально изучил и устав, и программу, и классиков, перечитал работы Ленина, Маркса, Энгельса. И тут вдруг на горкоме такое произошло... Через год строгий выговор сняли, но в учетной карточке запись оставалась вплоть до обмена партийных документов. Только тогда у меня учетная карточка стала чистой.

Вообще же, это только в последнее время мы стали размышлять о нецелесообразности вмешательства партии в хозяйственные дела. Тогда и хозяйственники, и тем более партийные работники считали это совершенно в порядке вещей. И я так считал, и было совершенно естественно, когда я получал вызовы одновременно в несколько райкомов партии на совещания. Правда, пытался увернуться от всех заседаний, но то, что там с помощью накачек, выговоров и так далее решались многочисленные хозяйственные и прочие проблемы, — это было жизненной сутью системы и никаких вопросов или возражений не вызывало. Главное, чтобы не попался какой-нибудь райкомовский аппаратчик-зануда, который своими глупостями на почве мании величия может сильно испортить жизнь. Помню, у меня конфликт произошел с первым секретарем райкома партии Бабыкиным, тем самым, который затем станет первым секретарем Свердловского обкома партии и на XIX партконференции пошлет записку с нелепым текстом против выступившего в мою защиту свердловчанина Волкова.

Так вот, получаю я телефонограмму от Бабыкина с требованием явиться на совещание к такому-то часу. Я удивился тону, не знаю, как даже точнее назвать — барскому или хамскому, и на телефонограмму не ответил. Вообще же однажды подсчитал, что одновременно меня могут вызвать в двадцать две организации, начиная от семи райкомов партии и райисполкомов, где мы строили объекты, и заканчивая обкомом партии. Естественно, успеть всюду было невозможно, ну и где-то мы, созвонившись, переносили встречу, куда-то я посылал замов, выкручивались, короче, на взаимоприемлемой основе. А тут такой странный командирский тон. Он один раз послал телефонограмму, второй раз, третий. Наконец звонок от него: прошу объяснить, почему не являетесь на совещания, которые проводит первый секретарь районного комитета партии? Я отвечаю: а почему, собственно, должен являться именно на ваши совещания, если у меня в это время такие же совещания в других райкомах, почему я должен предпочтение отдавать именно вам, а не кому-либо другому? Он совсем взъерепенился: нет, я докажу, я доберусь, все равно будете ходить! Я говорю: вот уж после таких слов вы никогда меня у себя на совещании не увидите. Так потом и получалось. Ничего он со мной сделать не мог, а, конечно, свое самолюбие ему очень хотелось ублажить... Он такой и сейчас.

После работы начальником управления мне предложили должность главного инженера вновь создаваемого крупного домостроительного комбината — вместе с большим заводом, с многотысячным коллективом, который в дальнейшем все разрастался и разрастался. Скоро начальника комбината отправили на пенсию, а меня назначили на его место. Так, достаточно молодым, в 32 года, я стал руководителем очень крупного комбината.

Сложный был период. Одновременно шло и освоение завода, и внедрение новых технологий, и внедрение поточного скоростного строительства. Провели эксперимент по строительству пятиэтажного дома за пять дней — нам это удалось. Потом попробовали другой эксперимент. Застраивая микрорайон, башенные краны шли один за другим без демонтажа, пути продолжались к следующему дому, следующему, и так очень много времени экономили на демонтаже и монтаже кранов. Были другие технически интересные решения, комбинат начал стабильно выполнять план. Стали шить индивидуальную спецодежду со знаком ДСК — домостроительный комбинат, причем шить индивидуально по размеру — каждому рабочему, каждой женщине. Это людям очень нравилось, появилась гордость за свою фирму.

Конечно, тяжело давалось жилье в конце года, в конце квартала, когда приходилось практически круглосуточно работать. Часто, именно в ночные смены, Я посещал строительные бригады, особенно женские.

Вообще мой стиль работы называли жестким. И это правда. Я требовал от людей четкой дисциплины и выполнения данного слова. Бранные слова нигде не употреблял и свой громкий и зычный голос тоже старался на людей не повышать, моими главными аргументами в борьбе за дисциплину были собственная полнейшая отдача работе, постоянная требовательность и контроль, плюс вера людей в справедливость моих действий. Кто лучше работает, тот лучше живет, больше ценится. Хорошая, профессиональная, качественная работа не останется незамеченной, и точно так же не останутся

незамеченными брак и разгильдяйство. Если дал слово — сдержи, а не сдержал — отвечай перед людьми. Эти ясные, понятные отношения создавали, мне кажется, человеческий, доверительный климат в коллективе.

Скажем, был у нас плотник Михайлишин, прекрасный мастер. Я как-то говорю: выручайте, Василий Михайлович, осталась ночь, завтра государственная комиссия дом принимает, двери покрашены, но надо их переставить. Оказалось, что шарниры, по халатности, поставили на заводе наоборот. С ними, бракоделами, мы потом разберемся. А сейчас надо спасать дело. Говорю: полы покрашены, их нельзя испортить, тут не нахрапом придется брать, тут аккуратненько, ювелирная работа нужна, и двери не испачкать, и полы, и все сделать, чтобы утречком осталось только шарниры подкрасить чуть-чуть и все. Вот так я его на ночь работать оставил, а утром, в шесть утра, вернулся. Захожу, он заканчивает последнюю дверь в подъезде. Я захватил с собой из дома транзисторный приемник, вручаю ему, мы обнялись, и слов никаких не надо. Ну разве у него останется чувство какой-то горечи, обиды из-за того, что оставил его работать на всю ночь?

Или еще одна критическая ситуация. Когда камвольный комбинат сдавали, вдруг практически за сутки выяснилось, что опять-таки из-за разгильдяйства, халатности не построили метров пятьдесят подземного перехода из одного корпуса в другой. Невероятно, но факт. На этот переход существовал отдельный чертеж, ну а он затерялся. В последний момент обнаружили, что перехода-то нет! А объект крупнейший, на виду у города, да и всей страны — шесть миллионов метров ткани ежегодно должен выпускать. Тут же собирается высший интеллект стройки, решаем, как точно и четко работу организовать, на обсуждение тратится буквально полчаса. Все высчитали по минутам: земляные работы, бетонирование, отделка, сюда перекидывается одна бригада, затем другая. Экскаватор начинает копать траншею, за ним идет следующий, за ним следующий. Каждый отвечает за свой участок. Никакой лишней суеты, все организовано предельно точно... В шесть утра уже укладывали асфальт на этот проклятый подземный переход, все было готово, мы успели.

Или вот еще — вроде бы мелочь: приехать в женскую бригаду в ночную смену и вместе с ними поболтать о том о сем, поработать — обои поклеить, окна покрасить, а поднимало это настроение и мне и девчатам очень сильно. Да и делу помогало — я узнавал те детали, мелкие вроде бы проблемы, которые, если руководитель не в курсе, перерастали в большие, неразрешимые. Зеркала в женские бытовки, отрезы на платье за хорошую работу, какие-то другие подарки, купленные на профсоюзные да и, бывало, на свои деньги, — все это создавало совсем другую атмосферу между начальником и подчиненными.

Четырнадцать лет проработал на производстве — и вдруг предложение возглавить отдел обкома партии, отдел строительства. Сильно этому предложению не удивился, я постоянно занимался общественной работой. Но согласился без особого желания. Работа начальником комбината у меня получалась: коллектив постоянно выполнял план, в общем, работалось хорошо, была приличная зарплата. Сейчас в Верховном Совете я имею зарплату меньше, чем тогда, двадцать лет тому назад. И все-таки пошел. Захотелось попробовать сделать новый шаг. Кажется, я так до сих пор и не могу понять, куда он меня привел.

21 февраля 1989 года

Странно, но мне до сих пор не верится, что это случилось. Кандидатом по Московскому национально-территориальному округу зарегистрирован Б. Н. Ель-

цин. То, чего так не желали, чему с таким отчаянием сопротивлялись аппаратные верхи, произошло.

Вместе со мной в избирательный бюллетень будет включен Ю. Браков, генеральный директор ЗИЛа.

Но по порядку... На окружном собрании меня должны были прокатить. В зале тысяча человек, из них двести — представляют десять кандидатов и восемьсот — тщательно отобранных, проинструктированных послушных выборщиков.

Всем было известно, чем кончится окружное собрание: аппарат наметил двух кандидатов — Ю. Бракова и космонавта Г. Гречко. У меня была единственная надежда на то, что все-таки удастся переломить зал и зарегистрировать всех, тогда появлялся реальный шанс. Перед началом собрания все десять претендентов по моей инициативе подписали письмо к участникам собрания с просьбой внести в бюллетени всех кандидатов в депутаты. Надо сказать, все подписывали это обращение с большим удовольствием, никому не хотелось участвовать в спектакле с уже готовым, расписанным финалом. Но по настроению зала я почувствовал, в этот раз этот номер не пройдет, в голове у каждого заученно

сидело две фамилии — Гречко, Браков, опыт прошлых собраний был учтен, неуклюжие бюрократы тоже умеют извлекать уроки из ошибок.

После выступления каждого из кандидатов со своей программой по регламенту следовали ответы на письменные вопросы — пять минут, и на вопросы с мест — семь минут. Мне передали больше ста письменных вопросов.

Я уже знал, что в зале сидят люди с заготовленными провокационными вопросами и только и ждут отмашки организаторов шоу, чтобы «делать дело». И тогда я придумал неожиданный ход. Из всех вопросов, поступивших ко мне, я выбрал самые несправедливые, неприятные, обидные. Обычно все отбирают для своих ответов выигрышные, я же решил сделать наоборот.

Начал отвечать на записки: «Почему вы предали Московскую партийную организацию, струсили, испугались трудностей?»; «На каком основании ваша дочь переехала в новую квартиру?» — и все в таком духе, разве что не было вопросов про приводы в милицию и про порочащие связи... Но этими ответами я совершенно расстроил планы руководителей мероприятия. Почти все негативные вопросы, которые они планирова-

ли задать с мест, уже прозвучали, и на вопросы устные я отвечал легко и спокойно. Зал потихонечку начал оттаивать, появились какие-то надежды на незапланированный исход.

Но был у нас припасен еще один сюрприз. Перед началом собрания ко мне подошел космонавт Георгий Гречко и сказал, что хочет снять свою кандидатуру, поскольку считает, что будет правильным, если меня выдвинут кандидатом в депутаты, и вообще сражаться со мной он не хочет. Я говорю: нет, подумайте... Он ответил: я твердо решил. Тогда я попросил его взять самоотвод перед самым началом голосования.

Гречко все прекрасно изобразил. Вообще я понял: в нем прекрасный актер умер. Во время всего собрания он переживал, нервничал, всем своим видом показывая, как его волнует реакция выборщиков, ответы, вопросы, борьба за регламент и т. д. И вот наконец перед самым голосованием каждому дается минута — так сказать, последнее слово. Дошла очередь до Гречко. И тут он спокойно подходит к трибуне и произносит: «Прошу снять мою кандидатуру».

Это был, конечно, мощнейший удар по организаторам. У всех, кого проинструктировали голосовать за Бракова и Гречко, появился свободный выбор, теперь можно было отдать свой голос за меня почти с чистой совестью — если будет тайное голосование, а его удалось пробить.

Так и произошло: я набрал больше половины голосов. Все кандидаты меня тепло поздравили. Между всеми нами было дружеское, товарищеское взаимопонимание, и это тоже во многом повлияло на итоги выборов.

Вообще, каждый раз планы моих противников рушатся, потому что они почему-то считают, что кругом одни завистливые и подлые люди... Если бы на собрании им удалось набрать только таких, тогда я бы, конечно, проиграл. Но они не смогли по всей Москве найти даже восьмисот подобных людей. Несчастные...

Начинался новый этап предвыборной кампании. Из-за того, что мои шансы на победу с прохождением очередного барьера увеличивались, стократно росло сопротивление тех, для кого мое избрание явилось бы настоящей катастрофой, крушением веры в незыблемость установленных порядков. То, что эти порядки давно прогнили, их не волновало. Главное было: не пустить Ельцина.

Но, кажется, уже было поздно...

«Какие ошибки Вы допустили, работая первым секретарем обкома?»

«Была ли критика в Ваш адрес и как Вы к ней относились во время работы первым секретарем обкома партии?»

«Ваши лучшие годы во время работы первым секретарем обкома приходятся на застойные годы. Как Вы к этому относитесь?»

(Из записок москвичей во время встреч, митингов, собраний)

Почти семь лет я проработал завотделом, а затем меня выбрали секретарем обкома. Примерно через год направили на месячные курсы в Москву в Академию общественных наук при ЦК КПСС. В этот период состоялся Пленум ЦК, на котором первого секретаря Свердловского обкома партии Рябова избрали секретарем ЦК. На следующий день во время лекции к микрофону подходит руководитель

курсов Королев и объявляет: Ельцина приглашают к одиннадцати часам в ЦК. А народ все опытный, сразу вокруг меня стал кучко-ваться, спрашивать, что и как? Я знать ничего не знаю, по какому вопросу меня приглашают. Хотя, конечно, где-то в душе чувствовал, какой может произойти разговор, но старался не думать об этом всерьез. В общем, поехал в ЦК.

Сказали: зайти сначала к Капитонову, секретарю ЦК, занимающемуся организационными вопросами. Он со мной поговорил: как учеба, как то, как это, как обстановка, как взаимоотношения в бюро обкома партии... Отвечаю, что все нормально. Больше он мне ничего не сказал и не объяснил, для чего пригласил. Пойдемте, говорит, дальше, к Кириленко. Опять разговор, общий, и тоже кончается ничем. Дальше Суслов. На этот раз разговор похитрее: чувствуете ли в себе силы, хорошо ли знаете партийную организацию области и т. д., но тоже без финала. Странная, думаю, система: что же будет дальше? А мне говорят: вас приглашает Брежнев. Надо ехать в Кремль. Сопровождали меня два секретаря ЦК — Капитонов и Рябов. Мы зашли в приемную, помощник тут же сказал: заходите, вас ждут. Я впереди, они за мной. Брежнев сидел в торце стола для заседаний. Я подошел, он встал, поздоровался. Потом, обращаясь к моим провожатым, Брежнев говорит: «Так это он решил в Свердловской области власть взять?» Капитонов ему объясняет: да нет, он еще ни о чем не знает. «Как не знает, раз уже решил власть взять?» Вот так, вроде и всерьез, вроде и в шутку, начался разговор. Брежнев сказал, что заседало Политбюро и рекомендовало меня на должность первого секретаря Свердловского обкома партии.

В тот момент вторым секретарем обкома в Свердловске был Коровин, то есть нарушалась привычная схема перестановки. Получалось, что рядовой секретарь выдвигается сразу на должность первого, а второй остается на своем месте. Хотя, объективно говоря, Коровин, конечно, для первого секретаря со своим характером не годился. Это понимали все.

«Ну как?» — спросил Брежнев. Все это было неожиданно для меня, область очень крупная, большая партийная организация... Я сказал: если доверят, буду работать в полную силу, как смогу. Поднялись, он вдруг говорит: «Только пока вы не член ЦК, поскольку уже прошел съезд, выборы закончились». Я, естественно, и вопроса такого не мог задать, но он почему-то проговорил это так, словно оправдывался. Потом смотрит, а у меня нет депутатского значка Верховного Совета, и говорит: «Вы не депутат?» Я говорю: «Депутат». Он оглядывается на секретарей с удивлением: «Как депутат?» Я совершенно серьезно говорю: «Областного Совета». Это, надо сказать, вызвало большое оживление, поскольку депутат областного Совета на таком уровне за депутата не считался. Ну, в общем, на том и расстались. Давайте, говорит, с пленумом не тяните.

И буквально через пару дней, 2 ноября 1976 года, прошел пленум Свердловского обкома партии, был на нем Разумов, первый заместитель заведующего орготделом ЦК. Все прошло как полагается, Разумов сообщил, что, в связи с избранием Рябова секретарем

ЦК КПСС, первым секретарем Свердловского обкома партии рекомендуется Ельцин. Я в это время на маленьком листочке написал тезисы небольшого выступления, чувствуя, что это надо сделать. Голосование прошло, как всегда, единогласно. Поздравили, я попросил слова, выступил с короткой, тезисной программой на будущее. И главная мысль была предельно проста: надо прежде всего заботиться о людях, а на добро они всегда откликнутся с повышенной отдачей. Это кредо исповедую и сейчас...

Со вторым секретарем надо было решать, потому что Коровину в такой ситуации работать психологически было тяжело, и через некоторое время на бюро предложили ему место председателя областного совета профсоюзов, где он дальше и работал с большим желанием. Любые перестановки кадров очень тяжело давались. Каждый раз к такому вопросу я внутренне готовился. Необходимо было серьезно обновить кадры области, и чаще всего на ключевых постах.

Например, предложил я уйти на пенсию председателю облисполкома Борисову. Роль, которую играл облисполком под его руководством в жизни области, была явно недостаточна. Советам надо было заняться всей сферой народного хозяйства, социальной культурой, строительством, чтобы постепенно эти функции передавались от партийных органов к советским, а партийные органы занимались бы больше политическими вопросами. Борисов согласился со мной и ушел на пенсию. Нужен был сильный, умный человек на этот пост. Перебирая мысленно известных мне руководителей, вспомнил Анатолия Александровича Мехренцева, генерального директора завода имени Кирова, Героя Социалистического Труда, кандидата наук, лауреата — в общем, человека, уже имеющего регалии, хотя и относительно молодого. Я знал о его высоких человеческих качествах, о его эрудиции, умении быстро схватывать обстановку, не теряться в любой ситуации. Предложил ему эту должность. Сначала он отказался, потом обещал подумать. А я нажимал на него! В общем, он согласился и стал работать. И я

считаю, что это было правильное решение. Постепенно он набирал обороты, а потом, на мой взгляд, стал одним из самых сильных председателей облисполкома.

Так постепенно сложилась своя команда — сильная, творческая. Мощное бюро. Разработали мы программы по главным направлениям — серьезные, глубокие, продуманные. Каждую обсудили на бюро обкома партии и приняли к действию. У нас проходили открытые бюро и закрытые. На закрытых было принято, чтобы каждый высказывал те претензии, которые имелись, в том числе ко мне. Я намеренно создавал такую деловую, открытую обстановку, чтобы любые критические замечания в мой адрес были нормальным рабочим явлением, хотя сам не всегда был согласен с критикой, она задевала самолюбие, но старался себя переломить.

Начался период бурной работы. И, как всегда в моей жизни бывало, меньше всего я жалел самого себя. Постепенно втягивались и остальные, кто-то приближался к заданному ритму, кто-то не отставал, тот же Мехренцев. Некоторые не выдерживали этого темпа, меньше брали на себя, но я этим людям особых претензий не предъявлял: самое главное, чтобы была отдача, был результат. Постоянно шли споры, дискуссии, но все это носило деловой, конструктивный характер. Были и домашние, человеческие встречи, которые помогали в работе.

Для себя наметил: с учетом того, что область включает в себя сорок пять городов, а вместе с районными и сельскими — шестьдесят три районных и городских образования, твердо решил обязательно бывать в каждом из них. Притом не реже одного раза в два года. И слово это держал. Мои поездки были не просто экскурсиями, а серьезной работой. Я встречался с активом, с различными специалистами, с рабочими, колхозниками, сельскими жителями и т. д. Кстати, как это ни странно звучит, одна из таких традиционных поездок в году приходилась на день моего рождения.

В день рождения я всегда прятался от многочисленных поздравлений. Прятался, естественно, не дома или в обкоме, там бы все равно нашли, а ехал в какой-нибудь отдаленный район и встречался с людьми на фермах, на полях, в общем, где найти меня было невозможно. Не люблю я этих традиционных дней рождения, когда сидишь за столом, а тебе в глаза говорят о том, какой ты замечательный. Как-то неуютно себя чувствуешь. А уезжая подальше от города, помогая людям, что-то тут же решая на ходу, я получал гораздо больше удовлетворения, поскольку день прошел с пользой. И таким образом сам делал себе подарок.

Постоянно пытался придумывать какие-то встречи, ярмарки, мероприятия, праздники, чтобы жители ощущали свое единение с городом, чтобы у людей появлялось чувство гордости за свой родной Свердловск, Нижний Тагил, другие города области.

Анатолий Карпов в своей книге «А завтра — дальше в бой», после победы над Корчным, ненавязчиво, но справедливо кольнул Свердловскую область, написав, что даже такие большие регионы, как наш, не имеют шахматных клубов. Тогда я с ним созвонился и сказал: давайте назначим месяц, число, вы приедете, и к этому времени в Свердловске будет шахматный клуб. Мы договорились. Ну, и началась работа. Освободили старый дом, капитально отремонтировали, пристроили к нему просторный зал с другими помещениями, и получился приличный шахматный клуб. Послал А. Карпову телеграмму, что такого-то числа жду его. Приехал он не один, а с космонавтом Севастьяновым, председателем шахматной федерации страны. Народу собралось много, натянули ленточку, я говорю Анатолию Карпову: «Режьте — это вы инициатор». Потом праздник продолжился в шахматном зале. Перед этим я нашим местным шахматистам посоветовал написать цитату из его книги на листе ватмана, слово в слово, — о том, что в Свердловской области нет шахматного клуба. И, когда он выступил, ему подносят этот большой лист, предлагают разорвать на клочки и, мало того, просят дать слово, что в следующей редакции книги эту фразу он исправит, — и не будет больше лежать такое позорное пятно на области. Он с удовольствием разорвал ватманский лист под ликующие возгласы всех присутствующих. Потом я его проводил до границы Свердловской области, и он поехал в свой родной Златоуст.

Личные занятия спортом я не прекращал. Естественно, уже ни за какую команду не выступал, но организовал из членов бюро обкома волейбольную команду. Очень скоро без волейбола жизнь Свердловского обкома партии было трудно представить. Играли два раза в неделю — в среду с полвосьмого до десяти-одиннадцати вечера и по воскресеньям. В командах участвовали целыми семьями, например, хорошо играли Неля Жетенева и Лида Петрова — жены секретарей обкома Баталии проходили очень темпераментно, я бы сказал, в них было больше азарта, чем самой игры. Но тем не менее это было интересно и полезно для разрядки, для сброса накопившегося напряжения. Другими видами спорта я перестал заниматься. Ну, кроме зарядки, это само собой.

С самого начала работы стал проводить регулярные встречи с различными категориями трудящихся.

Или это были директора школ, учителя, или, например, тысяча работников здравоохранения, или полторы тысячи студентов, или пятьдесят пионервожатых, или мастера, или директора предприятий, главные инженеры, секретари райкомов партии, молодые партийные работники, или, наоборот, со стажем, с опытом, председатели райисполкомов, творческая интеллигенция, обществоведы, ученые и т. д. В застойный для страны период такие встречи были скорее исключением, чем правилом. В ту эпоху было принято на всякие подозрительные вопросы не отвечать, а если и проводить встречи и конференции, то по поводу великого писателя, маршала, четырежды Героя и прочее, прочее.

В это время Брежнев страной не занимался или, скажем так, все меньше и меньше занимался. Его примеру следовали другие секретари ЦК, так получилось, что мы работали практически самостоятельно. Получали какие-то указания, постановления ЦК, но это только для галочки, для отчетов. Когда едешь в Москву пробивать вопрос, который не имеешь права решать в области, например, по строительству того или иного объекта, или по продуктам питания, или по фондам и т. д., то, конечно, заходишь в ЦК к работнику, курирующему область, — завсектором Павлу Васильевичу Симонову, — но и все. Кстати, прекрасный человек, он вел линию как бы невмешательства в дела нашей партийной организации и одновременно был в курсе всех наших дел, знал, что происходит, какие проблемы и т. д. Иногда позвонит, иногда полушутливо пожурит: отношения были хорошими.

В самом начале моей работы в должности первого он дал мне замечательный и запоминающийся урок. В городе проходила выставка агитплаката, я пошел на ее открытие, и, когда мы заходили в зал, нас сфотографировали. Потом эта фотография появилась в областной партийной газете «Уральский рабочий». На следующий день позвонил Симонов и начал воспитывать. А воспитывать он умел — вроде и не повышая голоса, но уж поиздевался надо мной всласть. Ах, говорит, как хорошо вы получились на фотографии, ну просто очень хорошо, вы вообще у нас такой фотогеничный, и теперь ведь вся область будет знать, что вы так хорошо на фотографии выходите, ну и в таком духе. Умел он глубоко задеть за живое, вроде и не говоря каких-то резких слов. В общем, урок он мне тогда очень хороший преподал, я его на всю жизнь запомнил. И я следил, чтобы больше в областной газете мои фотографии не появлялись.

Но такие люди в ЦК — исключение. Обычно туда я заходил только для порядка. К Разумову, может быть, один-два раза, больше для того, чтобы он каких-нибудь неприятностей не наделал. К секретарям ЦК заходил тоже из чувства вежливости. Реальные вопросы надо было решать в Совете Министров. С министрами отношения сложились неплохие, с Председателем Совмина Тихоновым тоже нормальные, деловые. Рыжкова я знал по Свердловску, мы были знакомы, когда он работал генеральным директором Уралмаша. Затем он перешел в министерство, потом в Госплан, в Центральный Комитет. Когда Николая Ивановича назначили Председателем Совмина, я старался нашим старым знакомством не злоупотреблять.

Вот пример из жизни руководства страны того периода. Нам надо было «пробить» вопрос о строительстве метро: все-таки уже миллион двести тысяч населения в Свердловске, а для этого нужно было решение Политбюро. Поэтому решил пойти к Брежневу. Созвонился. «Ну, давай приезжай», — говорит. Я, зная стиль его работы в тот период, подготовил на его имя записку, чтобы ему оставалось только наложить резолюцию. Зашел, переговорили буквально пять-семь минут — это был четверг, обычно последний день его работы на неделе; как правило, в пятницу он выезжал в свое Завидово и там проводил пятницу, субботу и воскресенье. Поэтому он торопился в четверг все дела закончить побыстрее. Резолюции он сам сочинить уже не мог. Говорит мне: «Давай диктуй, что мне писать». Я, естественно, диктую: «Ознакомить членов Политбюро, подготовить проект постановления Политбюро о строительстве метро в Свердловске». Он написал то, что я ему сказал, расписался, дает мне бумагу. Но, зная, что даже при этом документы потом где-то терялись, пропадали, я ему говорю: «Нет, вы пригласите помощника». Он приглашает помощника, и я говорю: «Дайте ему поручение, чтобы он, во-первых, зарегистрировал документ, а во-вторых, официально оформил ваше поручение: „Разослать членам Политбюро"». Он тоже молча все это сделал, помощник забрал бумаги, мы попрощались, и скоро Свердловск получил решение Политбюро о строительстве метро.

Пример этот показателен. Брежнев, по-моему, в последний период жизни вообще не понимал, что он делал, подписывал, произносил. Вся власть была в руках его окружения. Он и этот документ о свердловском метро подписал, не задумываясь над смыслом того, что я диктовал. Ну, хорошо, в результате этого было сделано доброе дело. А сколько проходимцев, нечестных людей, в конце концов, просто преступников, окружав-ших-его, использовали Брежнева для своих грязных дел? Сколько он тихо и бессмысленно начертал резолюций, которые принесли обогащение одним и беды, страдания другим. Страшно представить!..

Никогда — ни друзья, ни родственники, ни близкие или дальние знакомые — никто даже не пытался прийти ко мне, первому секретарю обкома, с просьбой помочь в каком-то личном деле. Сейчас хорошо известно, каких масштабов в годы застоя достигли протекционизм, коррупция, разлагавшие буквально всю систему власти. Мнение первого секретаря - — закон, и вряд ли кто посмеет не исполнить его просьбу или поручение. И этой властью пользовались нечистоплотные партийные работники и их окружение бесконтрольно. Зная мой характер, ко мне с таковыми прошениями не обращались. Даже трудно представить, что бы я сделал, как бы отреагировал на подобную просьбу.

Да, власть первого практически безгранична. И ощущение власти опьяняет. Но когда пользуешься этой властью только с одной целью, чтобы людям стало жить лучше, выясняется, что этой власти недостаточно: чтобы область хорошо, по-человечески накормить, чтобы всем нормальные квартиры дать... Ее хватает только на то, чтобы кого-то на хорошее место устроить, кому-то прекрасную квартиру выделить и подобными благами одарить свое окружение. Так и происходило, да и сейчас происходит: несколько десятков людей живут как при коммунизме, а народ доходит до последней черты.

А вообще, конечно же, в те времена первый секретарь обкома партии — это бог, царь. Хозяин области... Мнение первого секретаря практически по любому вопросу было окончательным решением. Я пользовался этой властью, но только во имя людей и никогда — для себя. Я заставлял быстрее крутиться колеса хозяйственного механизма. Мне подчинялись, меня слушались, и благодаря этому, как мне казалось, лучше работали предприятия.

Во что я никогда не вмешивался, так это в правовые вопросы, в действия прокуратуры, суда. Хотя, нет, пришлось однажды спасать директора подшипникового завода, его привлекли за перерасход материалов на заводе. Я заступился за него. Мне было по-человечески жаль молодого директора, тем более, я побывал в шкуре хозяйственного руководителя, знал, что такое многочисленные инструкции, опутывающие хозяйственника по рукам и ногам. Хороший парень, очень старался работать, жалко было его терять. В его действиях не было корысти, в чем-то его подвели, в чем-то он сам виноват, но это все-таки не уголовное преступление. Должностное — да. В общем, я попросил, чтобы внимательно разобрались в его деле. Директор остался на свободе.

XXVI съезд партии. Я серьезно готовился, хотел, конечно, нанести удар по тому застойному болоту, которое сложилось в стране. Выступление хоть и получилось боевым, выделялось оно на фоне славословий в адрес Брежнева, но, как я сказал на XXVII съезде, не хватило, видимо, у меня и опыта, и, самое главное, политического мужества, чтобы дать решительный бой нашей загнивающей партийно-бюрократической системе. К тому же я все-таки недостаточно знал членов ЦК, чтобы можно было серьезно повлиять на дела, хотя видел, что центр не работает.

Надо сказать, с энтузиазмом мы встретили приход Горбачева на должность секретаря ЦК, думали, что в сельском хозяйстве дела серьезно сдвинутся. Этого не произошло. Видимо, он не ухватил чего-то главного, а попытки наскоком поправить дела на селе к решительным сдвигам не привели.

Вообще мы познакомились с Горбачевым, когда работали первыми секретарями, он — Ставропольского крайкома партии, а я — Свердловского обкома. Познакомились сначала по телефону, перезванивались. Нередко нужно было в чем-то помочь друг другу: с Урала — металл, лес; из Ставрополья — продукты питания. Сверх фондов он обычно ничего не давал, но по структуре «птица — мясо» помогал.

Когда его избрали секретарем Центрального Комитета партии, я подошел и от души пожал руку, поздравил. Не один раз затем был у него, потому что сельское хозяйство в Свердловской области, в зоне неустойчивого земледелия, шло непросто.

Когда я заходил в его кабинет, мы тепло обнимались. Хорошие были отношения. И мне кажется, он был другим, когда только приехал работать в ЦК, более открытым, искренним, откровенным. Ему очень хотелось поправить дела в сельском хозяйстве, он много работал и держал связь с республиками, областями.

В тот момент произошел один случай. Может, он и стал началом некоторого похолодания наших отношений с Горбачевым.

В Свердловск приехала очередная комиссия из ЦК. Их было много тогда. Эта проверяла положение дел на селе. Понятно, что наряду с положительным нашли и немало недостатков. Они были. Но в справке оказались и явные искажения. Секретариат ЦК принял короткое постановление, причем без моего вызова. Мы просто получили его по почте, а через некоторое время приехал зам. зав. сельскохозяйственным отделом ЦК Капустян. Собрали актив, выступил Капустян в духе принятого Секретариатом ЦК постановления. Затем выступил я. В основном согласившись с выводами комиссии, тем не менее сказал, что не согласен с постановлением по ряду позиций, и перечислил их. Народ знал,

что значит не согласиться с таким документом; все затаились. Капустян выступил еще раз, я высказался еще резче. В общем, через некоторое время меня приглашают в Москву.

Эта комиссия много переживаний мне доставила. Думал ночами, ворочался: прав ли я, не прав, отстаивая свою точку зрения? К тому моменту Капустян с Разумовым, зам. зав. орготделом ЦК, подготовили записку в Центральный Комитет, в которой сообщали, что товарищ Ельцин необъективно оценил недостатки в области, не согласился с некоторыми выводами комиссии и после постановления Секретариата ЦК КПСС высказался против отдельных его положений, тем самым нарушив дисциплину... И так далее.

Выезжая в Москву, я знал, что такая записка есть, и, когда появился в ЦК, без удивления услышал, что меня ждет Капитонов. Каким-то извиняющимся тоном он начал: «Борис Николаевич, есть записка в Центральный Комитет от двух отделов, вот... И меня попросили... ну, не то чтобы поговорить, но, в общем, ознакомить вас с ней». И дал мне эту записку. Я прочитал. И затем повторил то, что уже говорил на пленуме обкома: что не согласен с рядом выводов записки в ЦК. Он не стал расширять тему нашей беседы, и на этом мы разошлись.

В этот же приезд я побывал и у Горбачева. Он встретил, как будто бы ничего и не произошло, мы поговорили, и, уже когда я уходил, он спрашивает: «Познакомился с запиской?» — с каким-то внутренним чувством неодобрения моих действий. Я говорю: «Да, познакомился». И Горбачев сказал сухо, твердо: «Надо делать выводы!» Я говорю: «Из постановления надо делать выводы, и они делаются, а из необъективных фактов, изложенных в записке, мне выводы делать нечего». — «Нет, все-таки ты посмотри». — Он, кстати, со многими на «ты»... Когда он «тыкал», сразу возникал какой-то дискомфорт, внутренне я сопротивлялся такому обращению, хотя не говорил ему об этом...

Ну, а история с этой комиссией и запиской на том и закончилась...

Нынче, в эпоху гласности, идет много разговоров о доме Ипатьевых, в подвалах которого были расстреляны бывший царь и его семья. Возвращение к истокам нашей искореженной, изодранной ложью и конъюнктурой истории — процесс естественный. Страна хочет знать правду о своем прошлом, в том числе и страшную правду. Трагедия семьи Романовых — это как раз та часть нашей истории, о которой было принято не распространяться.

Именно в те годы, когда я находился на посту первого секретаря обкома, дом Ипатьевых был разрушен. Расскажу, как это произошло.

К дому, где расстреляли царя, люди ходили всегда, хоть и ничем особенным он от соседних старых зданий не отличался, заселяли его какие-то мелкие конторки, но страшная трагедия, случившаяся здесь в 18-м году, заставляла людей подходить к этому месту, заглядывать в окна, просто молча стоять и смотреть на старый дом.

Как известно, расстреляли семью Романовых по решению Уральского Совета. Я сходил в областной архив, прочитал документы того времени. Еще совсем недавно факты об этом преступлении практически никому не были известны, существовала фальсифицированная версия в духе «Краткого курса», поэтому легко представить, с какой жадностью я вчитывался в страницы, датированные 18-м годом. Только в последнее время о судьбе семьи Романовых было опубликовано несколько подробных документальных очерков в нашей прессе, а тогда я оказался одним из немногих, кто прикоснулся к тайне жестокого расстрела царя и его семьи. Читать эти страницы было тяжело.

Близилась одна из дат, связанная с жизнью последнего руеского царя. На Западе в газетах и журналах появились новые исследования, что-то из этих материалов передавали западные радиостанции на русском языке. Это подхлестнуло интерес к дому Ипатьевых, приезжали посмотреть на него даже люди из других городов. Я к этому относился совершенно спокойно — поскольку совершенно понятно было, что интерес этот вызван не монархическими чувствами, не жаждой воскресения нового царя. Здесь были совсем другие мотивы — и любопытство, и сострадание, и дань памяти, — обыкновенные человеческие чувства.

Но по каким-то линиям и каналам информация о большом количестве паломников к дому Ипатьевых пошла в Москву. Не знаю, какие механизмы заработали, чего наши идеологи испугались, какие совещания и заседания проводились, — тем не менее, скоро получаю секретный пакет из Москвы. Читаю и глазам своим не верю: закрытое постановление Политбюро о сносе дома Ипатьевых в Свердловске. А поскольку постановление секретное, значит, обком партии должен взять на себя всю ответственность за это бессмысленное решение.

Уже на первом бюро я столкнулся с резкой реакцией людей на команду из Москвы. Не подчиниться секретному постановлению Политбюро было невозможно. И через несколько дней, ночью, к дому Ипатьевых подъехала техника, к утру от здания ничего не осталось. Затем это место заасфальтировали.

Печальный эпизод эпохи застоя. Я хорошо себе представлял, что рано или поздно всем нам будет стыдно за это варварство. Будет стыдно, но ничего исправить уже не удастся.

Считаю, что ЦК должен принять решение о публикации всех постановлений Политбюро — закрытых и открытых. По-моему, время это уже настало. Многое бы приоткрылось тогда, многие загадки нашли бы свое разрешение...

Проводили мы в области и активную пропагандистскую работу. Выступая с докладами, я предельно откровенно анализировал сложившуюся ситуацию. Меня спасало то, что до руководства мои выступления не доходили, а куратор Симонов, замечая многое, тихонько откладывал все в архив. У нас на Урале и в помине не было того безумного восхваления Брежнева, которое в тот момент громыхало по стране. Была усмешка, была издевка, у некоторых — недоумение, а у большинства — просто неприятие всего этого. Видели, конечно, куда идет страна, и противостоять этому пытались честной, самоотверженной работой на своем месте. В одной из откровенных бесед с Фиделем Кастро, а у меня с ним сложились доверительные отношения, он сказал: «Зря ты себя коришь, терзаешь — просто обстановка еще не созрела для того, чтобы действовать. Не созрела. Очень сильный центр, как панцирь, удерживает все».

Неплохие были контакты с членами военного совета Уральского военного округа: Сильченко, Тягуновым, Пашковым и другими. Часто ездил по частям, встречался и с рядовым, и с командным составом, участвовал в учениях, вместе со мной выезжали члены бюро, они сами водили танки, изучали самолеты. Помогали военным в обустройстве городков — это было необходимо, поскольку условия в некоторых военных городках были просто ужасные. Министерство обороны вообще считает солдат своими вассалами, не имеющими права голоса. Когда впервые на одном из собраний в дивизии я спросил, почему нет критики снизу, почему солдаты молчат, неужели им нечего сказать, это вызвало недоумение, дошло, конечно, до верхов, но проглотили. А я эту линию продолжал проводить. И постепенно началось какое-то реальное движение, комсомольцы слегка расправили плечи — ив конце концов и на партийных собраниях, и на других встречах с военными начали звучать критические выступления в адрес военного руководства. Я считал, что этот процесс необходим.

С областным Управлением КГБ у меня тоже сложились нормальные отношения. Начальник Управления Ю. И. Корнилов как кандидат в члены бюро участвовал в его заседаниях. Я часто бывал в этом ведомстве, просил информацию о работе КГБ, изучал систему функционирования комитета, знакомился с каждым отделом. Конечно, я знал, что существовали вопросы, с которыми он меня не знакомил. Но тем не менее структуру, систему КГБ я изучил достаточно основательно. Именно поэтому мое выступление на сессии Верховного Совета СССР летом 1989 года при утверждении Крючкова было не случайным, я все-таки знаком с этим закрытым для всех ведомством.

Однажды у нас произошел трагический случай, связанный с сибирской язвой. Для проверки, выяснения обстоятельств в Свердловск приехал заместитель председателя КГБ В. П. Пирожков. Это было в первые годы моей работы. Сидели у меня втроем — я, Пирожков, Корнилов. Шла спокойная беседа, и Корнилов между прочим сказал, что Управление КГБ работает дружно с обкомом партии. И вдруг Пирожков рявкнул: «Генерал Корнилов, встать!» Тот вскочил, руки по швам. Я тоже в недоумении. Пирожков, чеканя каждую фразу, произнес: «Зарубите себе на носу, генерал, во всей своей деятельности вы должны не дружно работать с партийными органами, а вы обязаны работать под их руководством, и только». Такая вот забавная воспитательная сцена произошла.

Надо сказать, за все десять лет, что я работал первым секретарем, ни одного шпиона не нашли, как ни старались. Корнилов по этому поводу сильно сокрушался, мол, плохо работаем: «В такой области хоть бы один шпион попался, а тут — ни одного».

Случались и экстремальные ситуации. Например, авария на Белоярской атомной станции в ночь с 31 декабря на 1 января 1979 года, когда у нас морозы достигли 57 градусов. По области произошло сразу несколько крупных аварий. На Белоярской атомной станции не выдержали металлоконструкции в машинном зале. И, падая, выбили искру, загорелось масло, начался пожар. Пожарные проявили колоссальный героизм и мужество. За несколько часов пригнали из Свердловска все свои силы, работать можно было только в противогазах, поскольку горел пластик, выделялся черный едкий дым, дышать невозможно. И нельзя было допустить, чтобы огонь перекинулся в реакторный зал. Подготовили уже сотни автобусов для эвакуации населения из поселка, но все-таки пожарные вместе с другими специалистами выиграли этот бой, спасли станцию, а главное — людей... А могли произойти самые катастрофические последствия: область насыщена оборонными предприятиями.

Во время войны сюда были эвакуированы сотни крупных заводов с территорий, оккупированных фашистами. Буквально на фундамент, без стен и без крыши, ставили станки, пускали их в работу, чтобы

немедленно давать продукцию для фронта.

А людей селили в землянки и бараки. Поэтому у нас в области оказалось чуть ли не самое большое количество бараков.

О своем отношении к этим ветхим, продуваемым отовсюду лачугам, я уже рассказывал. Поскольку сам прожил в них почти десять лет, до сих пор воспоминания о деревянных домиках на 10 — 15 — 20 семей вызывают тяжелые чувства. Так человек в двадцатом веке жить не может. И когда я пришел руководить областью, в Свердловске несколько тысяч семей ютились в бараках. В скором времени в стране приняли постановление о ликвидации бараков в течение десяти лет. Мне было ясно, что такие сроки вызовут возмущение, мы должны с этим делом покончить раньше, раз и навсегда.

Попросил, чтобы мне сделали расчеты. Выяснилось, что необходимо построить около двух миллионов квадратных метров жилья, только тогда удастся переселить людей из бараков. Два миллиона — это невозможно. Вся область в год строит два миллиона, а ведь в очереди на жилье стоят инвалиды, многодетные семьи, ветераны, очередники.

Не раз, будучи руководителем, мне приходилось принимать тяжелые решения, когда и так вроде не очень хорошо, и так — плохо. Что важнее: вытащить людей из бараков и заморозить на год все очереди на жилье или еще в течение десяти лет мучить людей в нечеловеческих условиях, но при этом очередникам жилье давать?

Все же решили на бюро — ни один человек за год квартиру не получит, только те, кто живет в бараках. Люди должны понять, что сейчас надо помочь тем, кто живет хуже всех. И действительно, в основном народ понял, хотя, конечно, приходилось к кому-то идти, объяснять, рассказывать, опять объяснять. Но зато взвились директора предприятий. Для них это был серьезный удар. Мы использовали их мощности, их строительную силу, взамен они ничего не получали. Разговоры на моральные темы их не трогали. Самое главное, я их понимал. Я сам был хозяйственником, отлично знал, что такое новый дом для коллектива, как его ждут. А тут этот дом надо отдать кому-то чужому. Тяжело.

И, чтобы спасти положение, я предпринял отчаянную поездку в Москву. Побывал у Кириленко, объяснил ситуацию, сказал: если будут жалобы, проклятья в мой адрес из-за жилья, год потерпите, складывайте их в ящик, надо с бараками заканчивать. Он согласился. Затем я пошел к Косыгину. Тоже рассказал о ситуации и опять объяснил, что ничего не прошу, ни стройматериалов дополнительных, ни мощностей, просто нужна моральная поддержка. Алексей Николаевич согласился со мной, договорились, что Совмин нас поддержит.

Все именно так и случилось. Директора жаловались, протестовали, писали на меня письма, а мы сносили один барак за другим, наступали на барачные районы, ломали, уничтожали их, и через год все бывшие обитатели бараков переехали в новые, благоустроенные квартиры...

У меня никогда не было особого желания подсчитывать свои успехи и достижения в роли первого секретаря. Не делал этого даже после выступления Лигачева на XIX партконференции, когда он твердил: «Борис, ты не прав» — и утверждал, что я завалил работу в Свердловске. По-моему, многим было понятно, что это ложь, а пускаться в дискуссии, что-то доказывать я считал просто недостойным.

И все-таки было удовлетворение, что лучше стало со снабжением, построили дорогу Свердловск — Серов. Кстати, и сейчас не могу понять, как же все-таки мы смогли осилить эту огромную работу — огромную и по усилиям, и по значению для Свердловской области.

Территория области имеет контур как бы перевернутого сердца: с севера на юг — тысяча километров, с запада на восток — пятьсот. Так исторически сложилось, что целый куст крупных северных городов не был связан с центром — со Свердловском и Нижним Тагилом — автодорогой. А север у нас богатый — это и бокситы, и руда, и драгоценные металлы, это металлургия, это угольный Карпинск, Тура. Чтобы проехать по железной дороге из Карпинска, Серова, Североуральска, Краснотурьинска и т. д. в Свердловск, требовались сутки. Люди оказались почти что отрезаны от нормальной жизни. Уже давно зрела мысль соединить эти города и центр автомагистралью, но задача была чрезвычайно трудной — дорога должна пройти по болотам, оврагам, через горы, несколько рек. Расстояние — 350 километров. Учитывая сложность рельефа, цена одного километра составляла один миллион рублей. Итак, где-то нужно найти 350 миллионов рублей, где-то выбить лимиты под строительство, людей, технику, в общем, непонятно, с какого боку надо браться. А необходимость в дороге с каждым годом ощущалась все острее.

Попросили центральные планирующие органы выделить нам средства. Быстренько получили отказ.

Собрали первых секретарей райкомов, горкомов партии, председателей гор- и райисполкомов, областных руководителей: давайте советоваться, как быть? Сможем ли мы ее поднять миром? Долго

дискутировали. Все-таки решили: надо дорогу делать своими силами. Определились так: разбить магистраль на отдельные участки, отдав каждый отрезок дороги определенным городам, а уже в городах предприятия, организации образуют специальные сводные отряды из строителей, специалистов с экскаваторами, бульдозерами, другой техникой, которые и будут вести строительство своего участка.

Всю эту махину можно было поднять только при наличии четкой организации труда, дисциплины и постоянного контроля, причем на самом высоком уровне. Созданный штаб постоянно следил за ходом работы, мы выезжали на участки, вылетали на вертолете туда, куда иным способом было не добраться. Давалась дорога тяжело — сплошные болота, торфяники, скалы... По-моему, природа специально делала все, чтобы остановить нас. И тем не менее дорогу строили основательно, на совесть, с многослойным покрытием — так, чтобы она могла служить многие годы.

Когда до конца строительства осталось примерно около года, мы наметили месяц, день и даже час открытия трассы. Договорились заказать автобусы, посадить в них партийных и советских руководителей тех территорий, по которым проходила дорога, и вместе отправиться в путь. И кто к намеченному сроку свой участок дороги не доделал, тот из автобуса выходит. Все так и случилось. С тех пор на карте появилось детище всех свердловчан, новая дорога Свердловск — Серов. Это была наша общая победа. И оттого особенно дорогая.

Конечно, скажут сейчас мне, высаживать из автобуса высоких городских руководителей на глазах у всех — это не очень... Это пресловутый административно-командный стиль. Но что делать, именно он срабатывал в тот момент.

Я воспитан этой системой. И все было пропитано административно-командными методами руководства, соответственно вел так себя и я. Проводил ли какие-то совещания, вел ли бюро, делал ли доклады на пленуме — все это выливалось в твердый напор, натиск, давление. В то время эти методы давали свой результат, тем более если руководитель обладал определенными волевыми качествами. Но постепенно становилось понятно, что все больше и больше вроде бы хороших и правильных постановлений бюро при контроле оказывались невыполненными, все чаще и чаще слово, данное первым секретарем райкома, горкома партии, председателем исполкома, хозяйственными руководителями, не воплощалось в дело. Система явно начинала давать сбой.

Конечно, к концу десятилетия, когда казалось: мы выложились полностью, все методы перепробованы и все пути известны, — стало труднее искать какие-то новые подходы. Хотя по-прежнему мы специально, как и каждый год, в начале января собирались с членами бюро, чтобы обсудить новые формы работы, которые необходимо внести в жизнь партийной организации области. И все-таки я почувствовал, хотя в этом никому не признавался, что прежней удовлетворенности работой уже нет. Те формы и методы, что были в запасе, оказались исчерпаны. На чувстве внутренней усталости, что ли, тупиковости я себя поймал... Хотя дела в области по-прежнему шли неплохо.

22 февраля 1989 года.

Примерно в три утра закончилось окружное предвыборное собрание по Московскому национально-территориальному округу № 1. А через три часа я сидел в самолете и рейсом Москва — Свердловск летел в свой родной город. Доверенным лицам я поручил отправить телеграммы в те округа, где моя кандидатура была выдвинута, просил поблагодарить и сообщить о своем решении баллотироваться по другому округу, пока не назвал, по какому.

А в Свердловск летел потому, что просто сообщить телеграммой в адрес земляков об отказе я не мог.

Мою идею баллотироваться в Москве и отказаться от тех округов, где шансы были практически стопроцентными, многие — и противники и сторонники — называли крупной ошибкой, пижонством, наглостью, самоуверенностью. Мне, в общем-то, нечего было на это ответить. Был, и очень большой, риск оказаться не избранным в народные депутаты. Я мог лишить себя последнего, по сути, единственного шанса вернуться из политического заточения к людям. После того, как с таким трудом я преодолел главные препятствия на пути, вдруг взял и создал сам себе новое. Действительно, вроде бы странно.

И все-таки нужно было идти по Московскому, главному в стране, округу. Не мания величия или самонадеянность двигали мною. Нужно было доказать и самому себе, и всем тем, кто поддерживал меня, что настало иное время. Теперь мы можем сами определять свою судьбу, можем, несмотря на все давление верхов, аппарата, официальной идеологии и прочее, прийти на избирательный участок и сделать свой выбор.

Если бы я снял свою кандидатуру в Москве и баллотировался по Свердловску, на этом практически моя предвыборная кампания заканчивалась. Осталось бы только дождаться 26 марта, дня выборов, проснуться на следующее утро и уточнить результаты своей победы. Подавляющее большинство свердловчан, без сомнения, проголосовало бы за меня.

Предвыборная кампания в столице, а шансы свои я оценивал здесь примерно пятьдесят на пятьдесят, — это продолжение моего выступления на октябрьском Пленуме ЦК. Только там я был один, а против меня — вся верхушка разъяренной партийно-бюрократической системы. А теперь совсем иная ситуация. Против — все те же. Только теперь я уже не в одиночестве. Со мной многомиллионная Москва. Впрочем, почему только Москва? Всем одинаково противны ханжество, лицемерие, ложь, барское самодовольство, самоуверенность, которыми пропитана власть.

Утром я был в Свердловске. Хотя и ни минуты не спал, но в родном городе всю усталость, все-напряжение последних нескольких дней как рукой сняло. Прямо с аэродрома поехал на встречу со свердловчанами. Первая длилась три часа. Небольшой перерыв, объятия с друзьями и — другой зал, Дворец культуры крупного завода. Там еще полторы тысячи человек. И около пятисот записок. И в каждой второй: «Борис Николаевич, откажитесь от Москвы, там Вас «зарежут», москвичи могут подвести».

Только к часу ночи закончилась встреча. Как мог, объяснил своим землякам, что все-таки надо начать предвыборную кампанию в Москве. Кажется, они поняли меня. Правда, сказали, если все-таки 26 марта я провалюсь по Московскому округу, могу не волноваться. На всякий случай, они забаллотируют в этот день всех своих кандидатов, чтобы у меня оставался шанс пройти по Свердловскому округу на повторных выборах. В общем, настроены они были решительно. И еще добавили, что в день выборов каждый, у кого будет хоть малейшая возможность, возьмет в Свердловске открепительный талон и прилетит в Москву, чтобы добавить свои голоса к московским.

Вот такие у меня земляки!..

Практически ни с кем из друзей не смог посидеть, поболтать. Как это ни печально, надо уезжать. В каком-то сумасшедшем ритме я живу последнее время... Это ненормально. На друзе» время должно оставаться, а его нет.

Заехал к маме. Господи, сколько же ей пришлось пережить за последнее время! Обнял ее и уехал...

«Скажите, Вы рвались в Москву или это дело случая?»
«Как выбирали себе квартиру в Москве?»

(Из записок москвичей во время встреч, митингов, собраний)

Третьего апреля 1985 года на бюро Свердловского обкома партии сидели и бурно обсуждали проблемы, связанные с посевной кампанией в области. Обстановка сложилась экстремальная, снега выпало мало, влаги практически не было, все специалисты высказали мнение, что с посевными работами надо немного подождать. Пришли к этому выводу, но тем не менее решили разъехаться по районам области и на местах посоветоваться со специалистами. Вечером совершил рейд по магазинам. В принципе и так все прекрасно знал, но хотелось еще раз посмотреть собственными глазами. Вроде с продуктами стало получше, появилась птица многих сортов, сыр, яйца, колбаса, но тем не менее удовлетворенности не было.

Не предполагал я, что именно в этот вечер мысли мои будут совсем в другом месте. В машине раздался телефонный звонок из Москвы. «Вас соединяют с кандидатом в члены Политбюро, секретарем ЦК товарищем Долгих». Владимир Иванович поздоровался, спросил для вежливости, как дела, а затем сказал, что ему поручило Политбюро сделать мне предложение переехать работать в Москву, в Центральный Комитет партии заведующим отделом строительства. Подумав буквально секунду-две, я сказал — нет, не согласен.

Про себя подумал о том, о чем ему не сказал, — здесь я родился, здесь жил, учился, работал. Работа нравится, хоть и маленькие сдвиги, но есть. А главное — налажены контакты с людьми, крепкие, полноценные, которые строились не один год. А поскольку я привык работать среди людей, начинать все заново, не закончив дела здесь, я посчитал невозможным.

Была и еще одна причина отказа. В тот момент я себе в этом отчет не дал, но, видимо, где-то в подсознании мысль засела, что члена ЦК, первого секретаря обкома со стажем девять с половиной лет — и на заведующего отделом строительства ЦК — это как-то не очень логично. Я уже говорил:

Свердловская область — на третьем месте по производству в стране, и первый секретарь обкома партии, имеющий уникальный опыт и знания, мог бы быть использован более эффективно. Да и по традиции так было: первый секретарь обкома партии Кириленко стал секретарем ЦК, Рябов — секретарем ЦК, а меня назначают завотделом. В общем, на его достаточно веские аргументы я сказал: не согласен. На этом разговор закончился.

А дальше, конечно, провел в размышлениях о своей дальнейшей судьбе всю ночь, зная, что этим звонком дело не кончится. Так и случилось. На следующий день позвонил член Политбюро, секретарь ЦК Лигачев. Уже зная о предварительном разговоре с Долгих, он повел себя более напористо. Тем не менее я все время отказывался, говорил, что мне необходимо быть здесь, что область уникальная, огромная, почти пять миллионов жителей, много проблем, которые еще не решил, — нет, я не могу. Ну, и тогда Лигачев использовал беспроигрышный аргумент, повел речь о партийной дисциплине: Политбюро решило, и я, как коммунист, обязан подчиниться и ехать в столицу. Мне ничего не оставалось, как сказать: «Ну, что ж, тогда еду», — и двенадцатого апреля я приступил к работе в Москве.

Расставаться со Свердловском было очень грустно, здесь я оставлял друзей, товарищей. Здесь и родной Уральский политехнический, здесь прошел высшую школу производства, здесь перешел с хозяйственной на партийную работу. Да что там, собственно — вся жизнь здесь. Женитьба, две дочери и уже внучка. А потом, 54 года — тоже немало. По крайней мере, для того, чтобы менять и весь уклад, и направление в работе.

В стране существует некий синдром Москвы. Он проявляется очень своеобразно — во-первых, в неприязни к москвичам, а в то же время в страстном желании переехать в Москву и самому стать москвичом. Причины и корни того и другого понятны, они не в людях, а в той напряженной социально-экономической ситуации, которая сложилась у нас. Ну, и в вечной страсти создавать потемкинские деревни. Москва, куда приезжают иностранцы, — столица, хотя бы она одна должна выглядеть внешне привлекательно, здесь должны быть продукты питания, здесь — те товары, о существовании которых в провинции уже забыли. И вот едут иногородние в Москву, встают в огромные многочасовые очереди за импортными сапогами или колбасой и злятся на москвичей, которым так в жизни повезло, у них все есть. А москвичи в сваю очередь проклинают иногородних, которыми забиты все магазины, и купить из-за них вообще ничего невозможно. Провинция рвется отдать своих выросших детей в Москву, ценой любых унижений. Появилось даже новое слово, которого не было в словарях недавнего прошлого, — лимит-чик. Это молодые юноши и девушки, выполняющие чаще всего неквалифицированную работу за право через несколько лет прописаться в Москве и стать полноправными москвичами.

Честно признаюсь, я тоже с предубеждением относился к москвичам. Естественно, близко мне с ними общаться не приходилось, встречался в основном с различными союзными и республиканскими руководителями, но и от этого общения оставался неприятный осадок. Снобизм, высокомерие к провинции не скрывались, и я эмоционально переносил это на всех москвичей.

При этом не было никогда у меня мечты или просто желания работать в Москве. Я не раз отказывался от должностей, которые мне предлагали, в том числе и от должности министра. Свердловск я любил и люблю, провинцией не считаю и никакой ущербности для себя в этом вопросе не чувствовал.

Тем не менее — я в Москве. Показали квартиру, настроение было неважное, поэтому мне было все равно. Согласился на то, что предложили — у Белорусского вокзала, на 2-й Тверской-Ямской. Шум, грязный район. Наши партийные руководители обычно селятся в Кунцево, там тихо, чисто, уютно.

Включился бурно, и отдел заработал активно. Не все, конечно, приняли этот стиль, но это и естественно. Возвращался домой в двенадцать-полпервого ночи, а в восемь утра уже был на работе. Не требовал этого от других, но сотрудники пытались как-то подтягиваться. У меня не было какого-то священного трепета, когда я переступил порог и начал работу в здании ЦК КПСС на Старой площади. Но вообще-то именно это здание — своего рода цитадель власти в стране, средоточие аппаратного могущества. Отсюда исходят многие идеи, приказы, назначения. Грандиозные, но часто невыполнимые программы, вперед зовущие лозунги, просто авантюры и настоящие преступления. Здесь за минуты решались вопросы, которые потом несколько лет потрясали весь мир, как, например, решение о вводе советских войск в Афганистан.

Я приступил к работе, нисколько не задумываясь над этим. Надо было поднимать отрасль. Я хорошо знал вопросы строительства, был, так сказать, в шкуре хозяйственника, и потому главные беды, проблемы этой отрасли мне были известны.

Моя жизнь так складывалась, что практически никогда мне не приходилось ходить в подчинении. Я не работал «замом». Пусть начальник участка, но не зам. начальника управления, пусть начальник

управления, но не зам. управляющего трестом. В «замах» я не был — и поэтому привык принимать решения, не перекладывая ответственность на кого-то. Здесь же, в ЦК, механизм подчинения, строгой партийной иерархии доведен до абсурда, все исполнительно, все предупредительно... Конечно, для моего вольного и самолюбивого характера такие холодно-бюрократические рамки оказались тяжелым испытанием. Отдел строительства был в подчинении секретаря ЦК Долгих, и ему первому вплотную пришлось столкнуться с моей самостоятельностью.

Помню, он проводил совещание с заведующими курируемых отделов, я присутствовал первый раз на подобном разговоре. Долгих выступает, что-то рассказывает, а я смотрю, все пришли с пухлыми блокнотами и пишут, и пишут, пытаясь уловить каждое слово. Я слушаю и только принципиальные вещи тезисно, в одну фразу, набрасываю. Долгих, видимо, привыкший, что записывают чуть ли не каждое его слово, поглядывал с видимым неудовольствием: мол, что это ты, я изрекаю, а ты не записываешь. Ничего, правда, не сказал, зато в следующий раз специально меня спросил: «Есть ли у вас какие-то вопросы, может, что-то не запомнили, спрашивайте». Нет, говорю, все запомнил.

Хотя, конечно, он понимал, что мое нынешнее положение временное и скоро мой статус может резко измениться. Никаких конфликтов или проблем у меня с ним не возникало.

Работы было чрезвычайно много. Сейчас, конечно, не жалею, что поработал в отделе. Я познакомился с состоянием дел в стране, связался с республиками, многими крупными областями. Приходилось общаться с Генеральным — но только по телефону. Честно признаюсь, меня удивило, что он не захотел со мной встретиться, поговорить. Во-первых, все же у нас были нормальные отношения, а во-вторых, Горбачев отлично понимал, что он, как и я, тоже перешел в ЦК с должности первого секретаря крайкома. Причем края, который по экономическому потенциалу значительно ниже, чем Свердловская область, но он пришел секретарем ЦК. Я думаю, Горбачев знал, конечно, что у меня на душе, но мы оба виду не подавали.

Через некоторое время в Москву приехала супруга, вместе с дочерью и ее мужем, внучками, а младшая дочь уже жила в Москве. Они обживали квартиру, а я работал.

Моя семья.

Жена, две дочери, их мужья, внук и две внучки... Пожалуй, настала пора отвлечься от моей партийно-производственной жизни и рассказать о самых близких мне людях. Именно в этой главе, где я пишу о своем переезде в Москву. Им здесь пришлось совсем нелегко: незнакомый город, новый ритм, другие отношения. Обычно глава семейства в таких случаях как-то помогает освоиться, но у меня не было ни сил, ни времени следить, как идут дела дома, я весь ушел в работу, и, пожалуй, в Свердловске я видел свое семейство даже чаще, чем здесь.

Но, впрочем, по порядку. И для этого надо будет вернуться в веселые институтские годы.

В водовороте бурной студенческой жизни у нас сложилась своя компания: шесть ребят и шесть девчонок. Жили рядом, в двух больших комнатах, встречались почти каждый вечер. Само собой, в девчат кто-то влюблялся, мне тоже кто-то нравился, но постепенно в нашей большой, дружной студенческой семье я все больше и больше стал выделять одну — Наю Гирину. Родилась она в Оренбургской области и при рождении была записана Анастасией. Но родители и все звали ее потом и в школе, и в институте — Ная, Наина. Поэтому к имени, которым ее нарекли при рождении, она не привыкла.

В детстве и юности ее это не тревожило, а когда на работе стали называть ее уже по имени и отчеству, воспринимать без привычки стало трудно. Она пошла в загс и поменяла в паспорте имя на Наину. А мне больше нравилось имя Анастасия. Я ее очень долго потом звал не по имени, а вот так — «девушка».

Всегда была скромная, приветливая, какая-то мягкая. Это очень подходило к моему довольно неуемному характеру. Наши взаимные симпатии нарастали постепенно, но виду мы не подавали и даже если с ней целовались, то как со всеми девчатами, в щечку. До каких-то пылких объяснений дело не доходило. И так наши платонические отношения продолжались долго, хотя я внутренне понимал, что влюбился, влюбился крепко и никуда тут не деться. Помню, первый раз мы объяснились друг другу в любви на втором курсе на галерке фойе перед актовым залом института. И поцеловались у одной из колонн, и уже не в щечку, а по-настоящему...

Потом, на последнем курсе института, я на несколько месяцев уехал на соревнования, вернулся и как сумасшедший принялся за диплом. Защитился и опять уехал на игры, не поинтересовавшись даже, куда меня распределят. А когда вернулся домой, узнал, что меня оставили здесь, в Свердловске, а ее отправили в Оренбург. Обычно в один город молодых распределяют только тогда, когда у них

свидетельство о регистрации брака. А у нас имелось в наличии только объяснение в любви. И решили мы проверить нашу любовь — крепка ли она, глубока ли.

Договорились так: она уезжает в Оренбург, я остаюсь работать в Свердловске, но ровно через год мы встречаемся на нейтральной территории — не в Оренбурге или Свердловске, а в городе Куйбышеве. Там, решили мы, окончательно и поймем, остыли за это время наши чувства или наоборот — сохранились, выросли.

Так оно и случилось. Я уже рассказывал, что тот год у меня выдался очень напряженным, пришлось осваивать двенадцать рабочих специальностей, продолжать играть за сборную города по волейболу. И так совпало, что как раз ровно через год в Куйбышеве проходили зональные соревнования. Мы созвонились. Она очень волновалась, я даже голос ее еле узнал. Я, конечно, тоже переживал, но был настроен даже весело. Договорились встретиться на главной площади города в таком-то часу.

На этой площади находилась гостиница, в которой мы жили во время соревнований. И вот, выйдя из гостиницы, я увидел ее на площади. Сердце готово было вырваться от нахлынувших чувств, я поглядел на нее, и мне все стало ясно — мы будем теперь вместе всю жизнь. Провели мы весь вечер и всю ночь гуляя, говорили друг другу о многом-многом. Вспоминали и студенческие времена, и то, что произошло за год. Хотелось слушать и слушать любимого человека, смотреть на него день и ночь, просто молчать, потому что и так, без слов, все было понятно.

Вся дальнейшая жизнь показала, что это была судьба. Это был именно тот выбор — один из тысячи. Ная приняла меня и полюбила таким, каким я был, — упрямым, колючим, и, конечно, ей было со мной не так просто. Ну, а про себя я не говорю: полюбил ее, мягкую, нежную, добрую, — на всю жизнь.

Приехали мы в Свердловск, собрались в комнатке общежития, где я жил, с группой институтских ребят и девчат и объявили всем, что решили пожениться. А перед этим сходили в загс Верх-Исетского района. Тогда не было какой-то предварительной заявки на регистрацию — пришли со свидетелями, зарегистрировались и вернулись домой.

Так получилось, что в институте, особенно в последние годы, когда свадеб было много, я стал одним из главных организаторов так называемых комсомольских свадеб, которые устраивались обычно в столовой общежития: шумные, веселые, интересные, с выдумками. Так что я стоял как бы у истоков рождения многих семей. И вот все мои друзья объединились — решили, так сказать, «отомстить» — и сделали очень веселую комсомольскую свадьбу. Организовали ее в Доме крестьянина, съехались на нее ребята и девчата со всей страны, многие ведь уже работали в других городах. Это была настоящая свадьба, на которой было примерно полтораста человек. Чего только ребята не напридумы-вали, особенно Юра Сердюков, Сережа Пальгов, Миша Карасик, да и другие мои друзья. Они сделали все, чтобы эту свадьбу мы запомнили на всю жизнь. Ребята сочинили целую оду, подарили нам смешную самодельную газету, какие-то веселые плакаты, другие забавные сюрпризы. К сожалению, эти прекрасные подарки сохранить не удалось, они затерялись со временем. Жаль.

Свадьба гуляла всю ночь. Но это, оказалось, не все. Мои родственники стали требовать еще одну свадьбу, поскольку в Доме крестьянина далеко не всем хватило места, там главным образом собралась молодежь. Провели свадьбу для родственников. Приехали в Оренбург, а там уже родные Наи тоже требуют свадьбу, третью по счету. А семья у нее настоящая крестьянская, со старыми традициями в доме. Сыграли и там, человек, наверное, на тридцать, у нее в доме. У родителей Наи был частный, небольшой домик прямо в городе, с огородом.

Несколько дней мы пробыли в родительском доме, вечером сидели на крылечке, оно выходило на большую поляну, разговаривали, мечтали — мечтали о будущем, о том, как сложится наша жизнь, о разном...

А потом вместе со мной она вернулась в Свердловск, стала работать в институте «Водоканалпроект» и проработала в этой организации свыше 29 лет, была главным инженером проекта, руководила группой. Человек она добросовестный, коллеги уважали ее, и рабо-талось ей как-то легче, чем мне, — по крайней мере, мне так казалось.

Меньше чем через год отвез жену в роддом. Хотел, конечно, парня, а родилась дочь. Но я был доволен, назвали девочку Леной. Ходили с ребятами к роддому, кидали в окно цветы. Потом вернулись в общежитие, отметили это событие, ужин был веселый. Через два года с небольшим опять повез Наю в роддом. Хотя я человек не суеверный, но выполнил все, что требовали обычаи: и топор под подушку положил, и фуражку. Мои друзья предсказывали, что теперь точно родится мальчик. Не помогли никакие приметы, родилась еще одна дочка — Татьяна. Очень мягкий, улыбчивый ребенок, по характеру, пожалуй, больше в мать, а старшая в меня.

Я, честно признаюсь, подробности того времени не помню. Как они пошли, как заговорили, как в

редкие минуты я их пытался воспитывать, поскольку работал чуть ли не сутками и встречались мы только в воскресенье, во второй половине дня, — у нас был общий обед. А когда дочки стали постарше, мы устраивали себе праздники и ходили обедать в ресторан, чем доставляли им огромную радость. Днем в ресторане «Большой Урал» народу обычно было мало. Мы заказывали обед с мороженым, что для Ленки и Танюхи было особенно важно.

Вроде я их и не воспитывал специально, но относились ко мне девочки как-то по-особенному, ласково и нежно, им хотелось сделать так, чтобы я был доволен. Обе учились на пятерки, я им сразу сказал, когда они в школу пошли, что четверка — это не оценка. Обе старались, и в общем каких-то особых сложностей в их воспитании не было. Конечно, возникали трудности чисто житейские, иногда не хватало того, другого, третьего, были бессонные ночи, когда кто-то болел, — но это обычная, нормальная жизнь.

Отпуск мы всегда с женой проводили вместе, всю жизнь. Однажды, помню, я уехал в Кисловодск один, девочек брать с собой еще было рано, Ная осталась с ними. Но уже через пять дней я шлю телеграмму: «Немедленно выезжай, не могу». Ная как-то пристроила девчонок, прилетела. И я сразу успокоился, а то места себе не находил. Сняли мы частную квартиру для Наи и опять были все время вместе. Когда дочкам исполнилось по 6 и 8 лет, мы все четверо провели отпуск в лесу, на берегу озера, в палатке. Пожалуй, это был самый лучший, самый запомнившийся отдых...

Говорят, что я редко улыбаюсь, — может быть, это так, хотя я по натуре оптимист. А иногда я думаю, что в молодые годы я, как главный заводила, так много смеялся, что весь высмеялся. Но до сих пор помню, когда мы проводили отпуск вот так, дикарями, — с утра до поздней ночи стоял смех и хохот, мы все время придумывали какие-то юморины, викторины, розыгрыши и прочее. То был настоящий отдых, психологическое расслабление. И это совсем не тот отдых, который я теперь имею, когда чуть ли не с первого дня отпуска все время думаю о работе, о работе, о работе...

Когда девочки учились в школе, я ни разу не был на родительских собраниях, ни у.той, ни у другой. После школы Лена поступила в Уральский политехнический, закончила строительный факультет, пошла по стопам отца. Сейчас она работает на строительной выставке. А младшая — мечтала о математике, кибернетике и, закончив школу, решила ехать в Москву, поступать в МГУ на факультет вычислительной математики и кибернетики. Я Таню не отговаривал, хоть жена сильно переживала, даже плакала, говорила, что одной ей в Москве будет тяжело. Но тем не менее дочь, несмотря на свой мягкий характер, оказалась настойчивой, упорной. В общем, она поступила. Жила в общежитии, я в Москву приезжал довольно часто по служебным делам, останавливался в гостинице, поэтому мы все время с ней виделись. Она приходила ко мне в гостиницу, я был у них в общежитии. Однажды принес и подарил им целую коробку посуды, перезнакомился со всеми Таниными друзьями, хорошие ребята. После окончания учебы Татьяну оставили работать в Москве на одном предприятии, она сейчас занимается большими машинами, связана с программированием, с решением сложных задач. Так что о чем она мечтала — осуществилось, и, мне кажется, она довольна.

Стала встречаться с одним парнем. Пригласила его домой, чтобы мы тоже познакомились с ним. Ну, Наина, конечно, после встречи говорит: скажи свое слово! Я говорю: нет, не я женюсь, а дочь, пусть она и решает, никаких советов давать не буду. Я и не давал ни той, ни другой.

Лена познакомилась с Валерой Окуловым, который работал в Свердловске штурманом на самолетах. А Татьяна подружилась с Лешей Дьяченко, ну и в конце концов полюбили друг друга. Оба зятя очень хорошие парни. И хотя они не называют меня отцом, тем не менее считаю мужей своих дочерей и своими детьми тоже — мы все вместе теперь одна большая семья. В обеих молодых семьях сложились прекрасные, добрые, уважительные отношения. Мне кажется, можно им искренне позавидовать. Сначала у Лены родилась Катя, внучка моя. А затем у Тани — Борис. Борису оставили нашу фамилию — Ельцин. Что ж, я только благодарен за это ребятам. Теперь на свете есть два Бориса Ельцина...

Потом у Лены родилась еще одна дочка, Машенька, — милый, ласковый ребенок. Катька другая — живчик, бойкая, острая. Борька тоже боевой, сразу стал заниматься спортом, уже в семь лет — заиграл в теннис, сейчас занимается в спортивной секции «Динамо» и ходит на занятия по восточной борьбе.

Живем вместе, в одной квартире с Таней. А старшая дочь живет отдельно. Недалеко от нас, поэтому они часто приходят к нам, ужиaают вместе, но, правда, я приезжаю домой поздно и могу увидеть всех только по воскресеньям. Когда вся большая семья собирается вместе — для меня это праздник. Все они заботливы, внимательны ко мне, тем более, у меня все время какие-то проблемы, какие-то трудности, все время я с кем-то борюсь, часто бессонные ночи, сплю, как всегда, очень мало. Я чувствую, как все они волнуются, переживают за меня, без этой поддержки вряд ли мне удалось бы преодолеть самые трудные минуты жизни.

Но вернемся к работе.

Через некоторое время — точнее, в июне, на Пленуме меня избрали секретарем Центрального Комитета партии по вопросам строительства. Честно говоря, я даже не испытал каких-то особых чувств или особой радости, посчитал, что это естественный ход событий и это реальная должность, по моим силам и опыту. Изменился кабинет, изменился статус. Я увидел, как живет высший эшелон власти в стране.

Если, пока я заведовал отделом, мне была положена небольшая дачка, одна на две семьи — вместе с Лукьяновым, тогда тоже заведующим отделом ЦК, то теперь предложили дачу, из которой переехал товарищ Горбачев. Сам он переселился во вновь построенную для него.

Были большие планы, поездки в отдельные республики, области — Московскую, Ленинградскую, на Дальний Восток, в Туркмению, Армению, Тюменскую область и некоторые другие районы страны.

Была еще одна поездка. О ней я специально напишу чуть подробнее. Я приехал на несколько дней в Ташкент, на Пленум ЦК Компартии Узбекистана. Меня поселили в гостинице. В городе многим стало известно о моем прибытии, и потому очень скоро вокруг гостиницы собрались люди, требовавшие, чтобы их пустили ко мне для разговора. Их, конечно же, стали прогонять, но я сказал, что в течение двух дней буду принимать всех, кто просится ко мне. А своего охранника попросил проследить, чтобы пускали действительно всех.

Первым ко мне пришел сотрудник КГБ, рассказал о страшном взяточничестве, которое здесь процветает. После Рашидова, говорил он, по сути ничего не изменилось, новый первый секретарь компартии республики берет взятки с тем же успехом, что и его предшественник. Этот сотрудник комитета принес несколька серьезных документов, касающихся деятельности Усманход-жаева, и попросил помощи. Только Москва может что-то предпринять, говорил он, здесь, на месте, любые попытки как-то действовать наталкиваются на сопротивление коррумпированного аппарата. Я обещал внимательно ознакомиться с документами и, если они действительно окажутся серьезными, доложить о них на самом верху.

А потом был второй посетитель, третий, четвертый, и так два дня подряд я слушал, казалось бы, неправдоподобные, но на самом деле более чем реальные истории о взятках в высшем партийном эшелоне республики.

Из этих рассказов складывалась стройная система подкупа должностных лиц снизу доверху, где честному человеку нужно было иметь настоящее мужество, что-бы не оказаться в этой цепочке взяточников. Эти люди в основном и приходили ко мне.

Сейчас об этих «делах» достаточно хорошо известно, ну а тогда картина, которая открылась, произвела на меня шокирующее впечатление. Я решил по приезде в Москву обязательно рассказать обо всем Горбачеву.

Когда уезжал, произошел еще один симптоматичный эпизод. Я попросил выписать счет за питание в гостинице, чтобы расплатиться. И вдруг мне говорят: за все уже заплачено. Я попросил своего старшего охраны, чтобы он объяснил гостеприимным хозяевам, что я не собираюсь шутить, счет должен быть выписан обязательно. Он возвращается обескураженный, говорит, нет счета, питание оплачено по специальной статье Управления делами ЦК республики, он проверял. Я не выдержал и сам, почти уже крича, потребовал счет...

Прилетев в Москву, внимательно изучил все документы, которые мне передали, и пошел к Горбачеву. Я достаточно подробно рассказал ему обо всем, что удалось узнать, в заключение сказал, что необходимо немедленно предпринять решительные меры. И, главное, надо решать вопрос с Усманходжаевым. Вдруг Горбачев рассердился, сказал, что я совершенно ни в чем не разобрался, Усманходжаев — честный коммунист, просто он вынужден бороться с рашидовщиной, и старая мафия компрометирует его ложными доносами и оговорами. Я говорю: «Михаил Сергеевич, я только что оттуда, Усманходжаев прекрасно вписался в рашидовскую систему и отлично наживается с помощью даже и не им созданной структуры». Горбачев ответил, что я введен в заблуждение и вообще за Усманходжаева ручается Егор Кузьмич Лигачев. Мне на это ответить было нечего, ручательство второго человека в партии, а тогда это было именно так, — дело нешуточное. В заключение просто попросил Горбачева еще раз внимательно разобраться в этом деле, оно слишком серьезное...

Так закончился наш разговор. Ну а то, что случилось потом, уже после моей отставки, хорошо известно Усманходжаев был смещен со своего поста, привлечен к ответственности. Что касается ручательства Лигачева, то сейчас многое становится ясным...

Но, впрочем, я забежал вперед. Эти события произойдут не скоро. Пока же я работаю секретарем ЦК и пытаюсь наметить реальную программу выхода отрасли из кризиса...

Не подозреваю, что моя судьба уже предрешена. В кабинете раздается звонок. Меня срочно вызывают на Политбюро.

6 марта 1989 года

Иногда думал, наблюдая, как одну за другой совершают ошибки мои оппоненты, сражаясь против меня: а что бы я предпринял, если бы пришлось возглавить борьбу против кандидата в народные депутаты Ельцина?..

Совершенно точно знаю, таких глупостей не делал бы. Ну, во-первых, вообще снял бы всякий покров таинственности с этого имени, он должен был бы стать обыкновенным кандидатом, как Петров, Сидоров. Немедленно бы позволил, точнее, даже заставил все газеты и журналы взять по паре интервью, и через месяц имя его уже стало бы надоедать. Ну, и телевидение, конечно. Показывать часто, много и желательно невпопад, в любой передаче — «Сельский час», «Служу Советскому Союзу», «Взгляд», «Время», «Музыкальный киоск», по всем программам, чтобы он окончательно надоел со своими идеями и мыслями. И вот тогда бы появился шанс прокатить неугодного Ельцина.

Здесь же, в жизни, делалось все, чтобы имя мое с каждым днем все явственнее приобретало ореол мученика. Официальная пресса обо мне молчала, интервью со мной можно было услышать только по западным радиостанциям. Каждый новый шаг, предпринятый против меня, все больше и больше возмущал москвичей. А поскольку таких шагов было множество, в конце концов те, кто боролся против, сделали все, чтобы народ избрал именно Ельцина по Московскому округу.

Многие спрашивали чуть ли не вполне серьезно: а может быть, первый секретарь МГК Л. Зайков — мое доверенное лицо, тайное, одиннадцатое по счету?.. Во всяком случае, мне советовали, когда выборы состоятся и все завершится успешно, обязательно ему позвонить и поблагодарить за огромную «поддержку и помощь», оказанную во время выборов. Абсолютное непонимание законов человеческой реакции, неумение чувствовать людей каждый раз приводило борцов против меня к обратным результатам.

Мне часто западные корреспонденты задают вопрос, есть ли у меня какая-то тактика предвыборной кампании, так сказать, секреты и тайны грядущей, хочется верить, победы. Как бы это ни звучало просто, но тактика была одна — здравый смысл. Не совершать никаких поступков, которые каким-то образом оскорбили бы моего соперника; на встречах, митингах говорить только правду, какой бы неудобной, невыигрышной она ни была; быть предельно откровенным. Ну, и все время надо чувствовать людей. Это самое главное.

Почти каждый день я проводил встречи с огромными коллективами. А в последний месяц даже по две в день. Выматывался, конечно, очень сильно, но после каждой такой встречи я получал внутренний заряд уверенности, что все будет нормально. И даже не в том дело, что я выиграю. Это, так сказать, частная задача. Появлялась уверенность, что с такими людьми, с такой искренней жаждой справедливости, добра мы все-таки обязательно выкарабкаемся из этой пропасти, в которой очутились.

Митинги я меньше люблю. Особенно многотысячные, а были дни, когда в Лужниках собиралось до ста тысяч человек. Здесь не разглядишь лиц, не увидишь глаз. Тут не происходит доверительного контакта с аудиторией. Но тем не менее митинг — это, пожалуй, одна из самых мощных и трудных школ для политического деятеля. Здесь нужно уметь одним словом овладеть вниманием огромной массы людей, одна фраза — и тебя могут скинуть с трибуны.

Мне лично жаль, что Горбачев не принимает участия в митингах. Для него это было бы более чем полезно. Ему, привыкшему к разговору со специально подготовленными, отобранными, доставленными на автобусах людьми, изображающими трудящиеся массы, опыт лужниковских митингов стал бы очень ценным уроком. Может быть, в конце концов это и произойдет...

Еще раз повторю, митинги — это очень опасный инструмент в политической борьбе. Здесь не сдерживают эмоций и не ищут парламентских выражений. И, значит, тем более взвешенным, точным должно быть выступление на нем. Мне трудно сейчас подсчитать, но, наверное, я участвовал более чем в двадцати крупных многотысячных митингах. Сложные чувства возникали, когда огромная масса людей, увидев тебя, начинала скандировать: «Ельцин! Ельцин!..» Мужчины, женщины, молодые, пожилые... Честно скажу, радости и удовольствия при этом не испытываешь. Нужно как можно скорее подняться на трибуну, взять микрофон и начать говорить, чтобы сбить эту волну восторгов, эйфории. Когда люди слушают, все-таки атмосфера уже меняется. Я с какой-то внутренней осторожностью смотрю на этот энтузиазм еще и потому, что все мы отлично знаем, как легко многие могут

восторгаться, а потом терять веру. Поэтому здесь лучше в иллюзии не впадать.

После митингов я нередко спорил со своими доверенными лицами, которые считали, что, чем громче скандировали мое имя, тем успешнее прошел митинг. Это все ерунда.

А вообще мои доверенные лица — это какой-то особый людской сплав. За их бескорыстную поддержку, искренность, самоотверженность, преданность буду им благодарен всегда. Мне многие твердили, что я совершаю страшную и непростительную ошибку, взяв себе в доверенные лица непрофессионалов — не политиков, ученых, а простых, умных, человечных людей. Я никого из них до предвыборной кампании не знал, они звонили, приходили ко мне, говорили: хотим быть вашими доверенными лицами; я отвечал: спасибо, но только подумайте, будет очень тяжело. Они говорили: мы знаем, — брали отпуск за свой счет и работали, не преувеличиваю, день и ночь... Возглавил работу доверенных лиц Лев Евгеньевич Суханов, человек самоотверженный, взваливший на себя огромный груз по координации моей предвыборной кампании.

Прекрасные люди. И — спасибо им...

«Какие у Вас были недостатки в работе на посту первого секретаря МГК? Относится ли к ним авторитаризм?»

«Правда ли, что уже на первой встрече с москвичами Вы получали письма от партийных мафиози и их жен, обещавших «порвать хилые паруса перестройки»?»

(Из записок москвичей во время встреч, митингов, собраний)

Проработал я секретарем ЦК несколько месяцев, и вдруг 22 декабря 1985 года меня вызывают на заседание Политбюро. О чем пойдет разговор, я не знал, но когда увидел, что в кабинете нет секретарей ЦК, а присутствуют только члены Политбюро, понял, что речь будет идти, видимо, обо мне. Горбачев начал примерно так: Политбюро посоветовалось и решило поручить вам возглавить Московскую городскую партийную организацию — почти миллион двести тысяч коммунистов, с населением города — девять миллионов человек... Для меня это было абсолютно неожиданно. Я встал и начал говорить о нецелесообразности такого решения. Во-первых, я — инженер-строитель, имею большой производственный стаж. Наметились мысли и какие-то заделы по выходу отрасли из тупика. Я был бы полезнее, работая секретарем ЦК. К тому же в Москве я не знаю кадры, мне будет очень трудно работать.

Горбачев и другие члены Политбюро начали убеждать, что это крайне необходимо, что надо освобождать Гришина, что партийная организация Москвы дряхлеет, что стиль и методы ее работы таковы, что она не только не является примером, но и вообще плетется в хвосте партийных организаций страны. Что Гришин не думал о людях, об их неотложных нуждах, завалил работу, его заботила только парадность проведения громких мероприятий — шумных, отлаженных, заорганизованных, когда все всё читают по бумажкам. В общем, Московскую партийную организацию надо спасать.

Разговор на Политбюро получился непростой. Опять мне сказали, что есть партийная дисциплина, что мы знаем: вы там будете полезнее для партии... В общем, опять, ломая себя, понимая, что Московскую партийную организацию в таком состоянии оставлять нельзя, я согласился.

Потом я нередко размышлял над тем, почему Горбачев остановился на моей кандидатуре. Он, видимо, учел и мой почти десятилетний опыт руководства одной из крупнейших партийных организаций страны, и производственный стаж... К тому же знал мой характер, был уверен, что я смогу разгребать старые нагромождения, бороться с мафией, имея определенный характер и мужество, смогу капитально поменять кадры, — все это было предугадано. В тот момент действительно я оказался наиболее удачной, что ли, кандидатурой для реализации тех целей, которые он ставил. Соглашался я на тот пост с трудом. И не потому, что боялся трудностей, — я отлично понимал, что меня используют, чтобы свалить команду Гришина.

Гришин, конечно, человек невысокого интеллекта, без какого-то нравственного чувства, порядочности — нет, этого у него не было. Тшла напыщенность, было очень сильно развито угодничество. Он знал в любой час, что нужно сделать, чтобы угодить руководству. С большим самомнением. Он готовился стать Генеральным секретарем, пытался сделать всё, чтобы захватить власть в свои руки, но, слава богу, не дали.

Многих он развратил, не всю, конечно, Московскую партийную организацию, но руководство МГК — да. В аппарате сложился авторитарный стиль руководства. Авторитарность, да еще без достаточного

ума, — это страшно. Сказывалось это все на социальных делах, на уровне жизни людей, на внешнем облике Москвы. Столица стала жить хуже, чем несколько десятилетий назад. Грязная, с вечными очередями, с толпами людей...

24 декабря состоялся Пленум Московского горкома партии, на котором выступил Горбачев. Освободили Гришина,- как всегда, по собственному желанию, в связи с уходом на пенсию, — это классический вариант отправки неугодных в отставку. Он предложил мою кандидатуру, что не вызвало, по-моему, ни у кого ни удивления, ни вопросов. Я буквально одной фразой высказал благодарность за доверие, сказал, что обещаю всем тяжелую, трудную работу... Пленум прошел спокойно.

А на февраль была назначена отчетно-выборная партийная конференция столицы — я предполагал, там будет главный бой. Старая гвардия Гришина попробует повернуть события вспять, и не только в Москве.

Нужно было сосредоточиться на подготовке к конференции.

Работая над докладом, я встретился с десятками людей, ездил на предприятия столицы. Анализируя обстановку, вместе со специалистами попытался найти оптимальный вариант выхода из кризисной ситуации. Мой доклад на конференции продолжался два часа, и Горбачев после его окончания сказал мне: «Подул сильный свежий ветер». Но сказал без ободряющей улыбки, с бесстрастным выражением лица.

Надо было менять бюро горкома партии, поскольку здесь кругом были люди Гришина. Гришин уже давно превратился просто в надутый пузырь. Авторитета у него не было никогда, ну а в тот момент, когда перестройка набрала обороты, его присутствие в Политбюро просто компрометировало высший орган управления партией. Горбачев всегда действовал не слишком решительно, с ним тоже он затянул, надо было, конечно, раньше снимать его с поста. Когда я принялся за московские завалы, воздвигнутые им и его людьми, внешне Гришин никак не проявил себя. Мне говорили, что он возмущался некоторыми моими действиями, но это были только разговоры, никаких конкретных шагов он не предпринимал.

Его пытались обвинить в различных махинациях, но никаких компрометирующих материалов против него работники правоохранительных органов не обнаружили. Мне сказали, что, по-видимому, они уничтожены. Я не исключаю такую возможность, потому что мы не обнаружили даже материалов по его вступлению в партию, а уж они-то точно должны существовать. В общем, имеется масса слухов о Гришине, но они ничем не подтверждены. Еще раз говорю, что, когда я пришел, его сейфы были пусты. Может быть, материалы о нем есть в КГБ, я не знаю.

Я предполагал, что он будет мешать мне, особенно в кадровых перемещениях. Он и сделал эту попытку, порекомендовав через подставных лиц на пост председателя исполкома Моссовета своего человека. Вообще всякий раз, когда дело касалось ключевых постов, я все время думал о том, что здесь может быть поставлен человек Гришина, и делал определенные ходы, чтобы исключить всякую возможность такого варианта. Я считал, что аппарат горкома, особенно те люди, которые проработали с Гришиным долгие годы, должны быть заменены. Эти аппаратчики были заражены порочным стилем эпохи застоя — холуйством, угодничеством, подхалимством. Все это было твердо вбито в сознание людей, ни о каком перевоспитании и речи быть не могло, их приходилось просто менять. Что я и делал.

Помощников заменил сразу, членов бюро, аппарат партийного горкома — постепенно, но твердо и уверенно. И начал подыскивать людей. Второго секретаря горкома В. Захарова мне порекомендовали в аппарате

ЦК, последнее время он работал там, а перед этим — секретарем Ленинградского обкома партии.

На месте председателя исполкома Моссовета сидел Промыслов, печально известный не только москвичам. Тогда ходила шутка, и не без оснований: «Промыслов временно остановился в Москве, перелетая из Вашингтона в Токио». Ко мне он пришел на следующий день после моего избрания и прямо с порога начал: «Невозможно было работать с Гришиным» — и дальше много нелестного в его адрес. И тут же, без всякого перехода: «Как я рад, что вы, Борис Николаевич, стали первым секретарем!» И в конце сообщает, что у него открылось, оказывается, второе дыхание, он полон сил, которых, безусловно, хватит еще минимум на пятилетку. Пришлось его остановить и сообщить, что разговор пойдет совсем о другом. Я сказал достаточно жестко, что ему надо уйти. Он попытался сделать еще несколько заходов в мою сторону, но я сказал: «Прршу завтра к двенадцати часам принести заявление». И на прощание добавил: «Не опаздывайте, пожалуйста». В двенадцать часов он не пришел, я позвонил ему и сказал, что он, видимо, не обратил внимания на мою фразу, я предлагаю ему уйти по-хорошему, а можно ведь и по-другому... Он понял и через двадцать минут принес заявление.

После этого за два дня четыре группировки предложили мне четыре кандидатуры на пост

председателя Моссовета. Каждая из них, я понимал, тащила своего человека. Всем было ясно, насколько важна фигура мэра города, как много от него зависит. Я решил использовать нестандартный вариант. Поехал на ЗИЛ. Пробыл там с восьми часов утра до двух часов ночи. Ходил по цехам, встречался с рабочими, специалистами, партактивом, конструкторами, руководителями подразделений. Но это был один угол зрения, а второй — я решил познакомиться с генеральным директором В. Г. Сайкиным, старался не упустить ни малейших деталей: как он разговаривает с рабочими, с подчиненными, с секретарями парткома, со мной. Несколько дней анализа — и пришел к мысли: он может стать хорошим председателем, конечно, не сразу, нужна будет помощь и поддержка. Переговорил по телефону с М. С. Горбачевым и изложил идею, он одобрил. Сайкин дал ответ не сразу, подумал, поразмышлял, но в конце концов согласился.

Секретари горкома тоже были заменены.

Я побывал в редакции газеты «Московская правда», встретился со всем коллективом, и в течение, наверное, четырех с лишним часов шел серьезный открытый разговор. Новый главный редактор Михаил Никифорович Полторанин работал до этого в «Правде». Принципиальный, талантливый журналист сразу же изменил атмосферу в газете. Появились публикации, которые насторожили и испугали многих. Помню, например, очерк «Кареты у подъезда» о персональных машинах, он тогда много шуму в Москве наделал. Статьи были не просто острыми, а, я бы сказал, дерзкими по тем временам. Полторанина вызвали в ЦК, перед этим позвонили мне, спросили: как оцениваете? Я сказал, что поддерживаю. Бурную реакцию вызвали публикации в «Московском комсомольце» о наркомании, проституции, об организованной преступности, — об этом ни-когДа не писали. В общем, московские городские газеты перестали быть тихими и послушными, и я это только приветствовал. Когда мне пытались подсказать, что уж не стоит так критиковать и вскрывать московские проблемы, все-таки столица, я отвечал: «Эти негативные явления есть? Есть. Скрывая все эти язвы и болячки, мы не заживляем их, а только замазываем сладким кремом, чтобы не было заметно. О любых негативных явлениях говорить надо, как бы тягостно это ни было».

Встречался и с московской редакцией телевидения. Она была выделена в новую редакцию, здесь тоже назначили нового редактора, появились интересные, а самое главное, свои, столичные, передачи: «Москва и москвичи», «Добрый вечер, Москва» и другие. Московское телевидение ожило.

Естественно, очень скоро московская пресса и телевидение стали вызывать резко негативную реакцию. Я уже рассказывал — Полторанина не раз вызывали в ЦК. Однажды его держали у порога высокого кабинета несколько часов, — все это было возмутительно. Я всячески его защищал. Все время жаловались Горбачеву, и он мне во время работы Политбюро говорил: «Вот, ваш Полторанин!..» Я ему: «Наш Полторанин хорошо руководит газетой, тираж газеты растет. Вы лучше последите за вашим Афанасьевым». А к тому времени уже становилось ясно, что подписка на газету «Правда» падает, и это при том, что коммунистов заставляли подписываться на главную партийную газету.

Ну а когда меня убрали, всем стало ясно, что Полторанину не устоять. И действительно, очень скоро его сняли с работы.

Но все это было позже. А пока мы продолжали сражаться за Москву.

Было запущено все — кадры, социальная сфера, шло отставание практически по всем цифрам, заложенным в генеральном плане развития Москвы 72-го года. Из-за привлечения по лимиту рабочих со всей страны (а в столицу таким образом приехало около 700 тысяч человек) оказалось, что на 1986 год население Москвы превысило запланированное число на миллион сто тысяч. А если прибавить к этому приезжих, гостей столицы, число которых составляло в летние месяцы три, а зимой два миллиона человек и на которых тоже не была рассчитана социальная сфера города, — вот и печальный итог, свидетелями которого мы все стали: очереди, грязь, переполненные метро и наземный транспорт. Все существование города оказалось буквально на пределе возможного. Такое же положение сложилось и в сфере культуры. Скажем, обеспеченность театральными местами на тысячу жителей была меньше, чем в 1917 году.

Секретари ЦК и члены Политбюро первое время старались помогать. Тем более, что Горбачев постоянно их настраивал на это, особенно в первый год. Именно тогда у меня возникла идея организации ярмарок, но хотелось сделать их не разовым мероприятием, а постоянными. В каждом районе на пустующих площадках были построены избушки, лотки. С городами и республиками заключены прямые договоры на поставку овощей и фруктов. И ярмарки начались. Не везде они удались, но во многих районах превратились в настоящие домашние уютные праздники. А это тем более было важно потому, что в Москве праздников явно недоставало. С тех пор ярмарки живут, москвичи к ним привыкли, по-моему, считают их своим родным детищем и без них сегодня жизни

города уже не представляют.

В Москве я продолжил несколько традиций, которые для меня стали привычны в Свердловске. Например, встречи с жителями города. Одну из самых первых провел с пропагандистами столицы. В большом зале Дома политпросвещения собралось около двух тысяч человек. Сначала я сделал доклад, а потом сказал, что отвечу на вопросы, которые мне будут задавать. На любые, даже самые неприятные вопросы. К счастью, таких было немного, но они были. Вроде того, что взялся ты, Ельцин, сейчас за московскую мафию, мы это уже видели, за нас уже брался Хрущев, хотел на нас ватники надеть, что из этого получилось, все знают. Если будешь продолжать, то на твоем месте через два года окажется другой. Забавно, что предсказание сбылось: именно через два года я был освобожден с должности первого секретаря горкома партии и вышел из состава Политбюро. Мафия, я думаю, тут оказалась ни при чем, просто совпадение.

Но тем не менее вот несколько случаев.

Стал получать массу писем о фактах коррупции, взятках в торговле, милиции. Их расследовали, но на систему не выходили — или не могли, или не хотели. Были подключены органы Управления внутренних дел, городское Управление КГБ, новое руководство торговли, общественного питания. Стали менять руководителей — круг опять смыкался.

А фактов все больше, люди видели и писали, но чаще анонимно. Расскажу о том, с чем сам столкнулся. Один за другим случаи на мясокомбинате — забой уже умерших животных, взятки, воровство. А покрывает первый секретарь райкома. Результат — обсуждение на бюро горкома.

Узнаю: в магазин завезли телятину, — иду и встаю в очередь; первые месяцы меня еще в лицо не так хорошо знали. Доходит очередь до меня — говорю: «Мне килограмм телятины». Отвечают: «Говядина есть, телятины — нет». — «Неправда, пригласите директора». Кое-кто начал понимать, поднялся шум. Настоял на осмотре подсобки, а там телятина в отдельной комнате, и ее уже куда-то через окно выгружают. Шум, гам, руководство сняли.

В заводской столовой: «Почему нет моркови?» — «Не завезли». Проверяем вместе с руководством завода. Привезли и куда-то в этот же день увезли. Рассказывают грузчики, документов нет. Шито-крыто.

Продовольственный магазин, в кабинете директора несколько свертков с деликатесами. «Кому?» — «По заказам». — «Может заказать каждый?» Молчание. Тогда с директором начинаем разбираться. Вынуждена признаться, что заказы распределяются райисполкому, МИДу, райкому партии, городским ведомствам и т. д., все разные и по весу, и по ассортименту, и по качеству.

Посмотрел общий баланс по городу ряда деликатесных продуктов. Странно. По каждому наименованию на несколько тысяч тонн привозят больше, чем съедают с учетом официальной «усушки-утруски».

Систему никто не раскрывает. И тут повезло. Уже знали, что я часто хожу по магазинам, торгам, базам. Знали, чем я интересуюсь. Но, видимо, боялись. А тут выхожу из магазина, иду пешком, догоняет молодая женщина, говорит: «Мне надо вам рассказать что-то архиважное». Тут же назначил ей день, час встречи в горкоме.

До сих пор не могу вспоминать без чувства возмущения ее рассказ о системе взяток, подачек. Ее только втянули, и она не выдержала. Поразительно все продумано. Продавец «должен» обсчитать покупателя и дать определенную сумму в сутки материально ответственному лицу, тот — часть себе, часть руководству магазина. Дальше — общий дележ по руководству снизу доверху, а если едешь на базу — там своя такса. Каждый знает двух-трех лиц, с кем связан. Есть еще и оптовая, крупная система взяток.

Я сделал все, чтобы эту женщину не узнали, боялась очень и просила защитить. Потом перевели в новый магазин. После этого обсудили узким кругом и решили менять не по одному провинившемуся, а целыми секторами, блоками, магазинами, секциями, цехами на базах. Ставить «не зараженную» молодежь. Суды привлекли к уголовной ответственности за год с небольшим около 800 человек.

Но ведь это только часть мафии. До теневой экономики, а она доходит до 15 процентов, до мафии, связанной с политикой, не дошли. Не дали. Срок — два года — кончился.

Потом горком, как мне кажется, охладел к этим вопросам.

А что касается встречи с идеологическими работниками в Доме политпросвещения, то для Москвы, привыкшей к гришинским пустым и длинным усыпляющим докладам, такой открытый и откровенный разговор оказался событием. А мне было приятно, что вместе со мной собрались единомышленники, с которыми не страшно браться за любую, самую трудную работу.

А то, что работа впереди предстоит ох какая тяжелая, тут ни у кого сомнений не было. Из тридцати трех первых секретарей райкомов партии пришлось заменить двадцать три. Не все они покинули свои

посты потому, что не справлялись: некоторые пошли на выдвижение. Другие вынуждены были оставить свои кресла после открытого, очень острого разговора на бюро горкома или на пленуме районного комитета партии. Большинство сами соглашались с тем, что не могут работать по-новому. Некоторых пришлось убеждать. В общем, это был тяжелый, болезненный процесс.

Не везде замена оказывалась точной, рациональной. Есть такое русское выражение: поменять шило на мыло. Вот и мы провели, как оказалось, несколько бессмысленных замен, не улучшивших стиль работы и состояние дел в районах. Произошло это по разным причинам: во-первых, я уже говорил, что недостаточно хорошо знал кадры Москвы, а во-вторых, вообще сложилась порочная практика подбора кадров по анкетно-номенклатурным признакам. По сути, выдвигается не человек, а его анкета. Поэтому были ошибки.

Когда впоследствии меня критиковали за то, что я жестоко отнесся к первым секретарям, снимая их с постов направо и налево, я проанализировал эту ситуацию. Выяснилось, что при мне сменилось 60 процентов первых секретарей районных комитетов партии. А при Михаиле Сергеевиче Горбачеве — 66 процентов первых секретарей обкомов партии. Так что мы с товарищем Горбачевым могли бы в этом отношении поспорить, кто из нас перегнул палку в вопросе кадров.

Но все дело в том, что и для него, и для меня иного выхода не было, кроме как менять тех, кто стал тормозом процесса перестройки. Эти люди были пропитаны застоем, они воспринимали власть только лишь как средство достижения собственного благосостояния и величия. Князьки районного значения. Ну разве можно было их оставлять на своих местах?! Оказывается, нужно было оставлять, во всяком случае, мою политику обновления кадров затем сурово осудили.

Тяжелое впечатление на меня произвел трагический случай с бывшим первым секретарем Киевского райкома партии. Он покончил с собой, выбросившись с седьмого этажа. Он не работал в райкоме уже полгода, перешел в Минцветмет заместителем начальника управления кадров, обстановка там вроде была нормальная. И вдруг совершенно неожиданно — такой страшный поворот. Кто-то ему позвонил, и он выбросился из окна. Позже, когда меня принялись травить, этот трагический случай кое-кто попытался использовать в своих целях, заявив, что человек покончил с собой из-за того, что я снял его с должности первого секретаря райкома партии. Даже легенда была сочинена, будто он вышел с обсуждения на бюро и выбросился из окна. Это абсолютная ложь. Но больше всего меня поразило то, что люди даже смерть человека пытаются использовать как козырную карту.

А вот еще эпизод из моей бурной деятельности на посту первого секретаря, который потом долго мне будут вспоминать. Я имею в виду ситуацию с группой «Память».

Мне позвонили по телефону руководители УВД и почти паническим голосом сообщили, что в центре Москвы собралась «Память» с лозунгами и чего-то требует.

В Москве это был первый массовый несанкционированный митинг. На площадь 50-летия Октября вышло человек триста-четыреста, может быть, даже пятьсот. Стояли они там долго, развернули лозунги вполне пристойного характера: что-то про перестройку, Россию, свободу, загнивание аппарата, и еще был лозунг «Требуем Ельцина или Горбачева». Сайкин несколько раз ездил к ним, но демонстранты не расходились. Прошло несколько часов. Толпа начала разрастаться. Нужно было принимать меры.

Поскольку в нашей реальной жизни, несмотря на Конституцию, дарующую нам многое, были разрешены всего две демонстрации — на Первое мая и Седьмое ноября, существовал испытанный и надежный способ справиться с подобным явлением. Надо было вызвать милицию, окружить демонстрантов и в последний раз потребовать разойтись. А если бы не разошлись, начать разгонять, выкручивать руки, арестовывать, и в результате все закончилось бы привычно и хорошо. Я решил действовать по-другому. Сказал, что встречусь с ними. И с тех пор мои, мягко выражаясь, недоброжелатели обвиняют меня в дружбе с «Памятью». Если бы демонстранты получили дубинками по голове, это бы устроило моих оппонентов.

Я сказал Сайкину, чтобы он передал их лидерам — кажется, тогда во главе «Памяти» стоял Васильев, — что я согласен встретиться с ними и предложил на выбор три адреса: Дом Советов, горком партии или Дом политического просвещения. Они выбрали Дом Советов и пешком пошли туда, в большой зал, он почти на тысячу мест. Когда все расселись, я предложил им высказаться, чтобы разобраться, чего же они хотят. Выступили несколько человек. Какие-то мысли и идеи были здравыми, например, о необходимости бережного отношения к русскому языку, о проблеме извращения русской истории, о необходимости охраны памятников старины и т. д. Были и экстремистские высказывания. В конце встречи выступил я. Сказал, что если вас действительно волнует судьба перестройки, страны, а не собственные амбиции, вы сами сможете справиться с экстремизмом в своих рядах. Приносите свою программу, устав, и, если вы собираетесь действовать в рамках Конституции, регистрируйтесь как

общественная организация и начинайте работать. Собственно, на этом все мое общение с «Памятью» и закончилось. Такие скучные вещи, как рамки Конституции, устав и т. д., их мало интересовали. Здоровая часть группы откололась от них. Но мне самому встречаться с группой «Память» больше не пришлось...

В тот момент все мы работали на необычайном подъеме. Руководство страны мне не только доверяло, но и помогало, зная, что такое Москва, и понимая, что в столице надо наводить порядок. Были сменены руководители Управления внутренних дел, КГБ, их заместители, многие начальники Главных управлений и т. д.

Я потребовал от руководства УВД и КГБ регулярно докладывать мне об обстановке в городе, обо всех происходящих ЧП. Одновременно старался помочь, с привлечением широкой общественности, партийных органов, Советов, промышленных предприятий, правоохранительным органам в наведении порядка в столице. Регулярно проводились рейды по всему городу. Происходило это так: как говорится, под ружье вставали все наличные правоохранительные силы города, и район за районом происходил обход каждого двора, каждого подвала, каждого чердака, каждого заброшенного дома. Эти рейды давали неплохие результаты. Неожиданно даже для милиции оказались пойманы несколько преступников, находившихся во всесоюзном розыске. Главное, что эти рейды были не показушными, совершались не ради кампанейщины, а проходили постоянно. Мы меняли их регулярность, ритм, чтобы те, кто боялся встречи с милицией, не могли приспособиться к этим «чисткам» города.

Я уже говорил, Москва задыхалась от перегруженности. Мне захотелось убедиться воочию, а не только по статотчетности, что ситуация с транспортом сложилась крайне напряженная. Ставил себе задачу не просто проехаться в метро, автобусе, пусть даже в часы «пик», а захотел, так сказать, на своих боках почувствовать, как москвичи добираются до места работы.

Например, я знал, что многие рабочие завода имени Хруничева живут в Строгино, новом микрорайоне столицы. Приехал в шесть утра в Строгино, вместе с заспанными рабочими сел в автобус, дальше — пересадка на метро. По дороге усталые, напряженные, заведенные люди много чего говорили о нас, начальниках, разваливших страну... Потом еще пересадка на автобус, и в 7 часов 15 минут, то есть точно к началу рабочего дня, я у ворот этого предприятия. Это только один эпизод, таких поездок было несколько.

Реакция Политбюро на эти мои путешествия в общественном транспорте была своеобразная. Явно, вслух неодобрения никто не выражал, но отголоски раздражения до меня докатывались. Потом, когда настала пора критики в мой адрес, все, что накопилось, было выплеснуто. Поездки в метро и автобусах были названы завоевыванием дешевого авторитета.

Глупо. Главное для меня было самому разобраться, что на самом деле происходит с транспортом, что необходимо предпринять, чтобы чуть-чуть снять нагрузку с людей в часы «пик». После этих поездок мы кое-что решили, например, сделали гибкий график начала работы московских предприятий, пустили новые маршруты, разработали некоторые другие меры.

Кстати, о популярности. Почему-то никто, кроме меня, не захотел ее завоевывать. Раз это так легко: съездил в транспорте и завоевал?! Что-то желания не возникало даже у тех, кто уже давно забыл, что такое популярность. Нет, просто в «ЗИЛах» ездить, действительно, гораздо удобнее. Никто на ноги не наступает, в спину не толкает, в бок не пихает. Едешь себе быстро и без остановок, всюду горит зеленый свет, постовые честь отдают, — конечно, приятно...

В общем, для меня была неожиданной такая бурная реакция на поездки в московском транспорте. В Свердловске это было совершенно обычным нормальным явлением, люди как-то и не сильно обращали внимание на то, что первый секретарь обкома едет в трамвае. Едет, значит так надо. А здесь в Москве это почему-то становилось событием, вызывающим многочисленные пересуды.

За время моей работы было выработано несколько принципиальных решений по Москве. Например, было принято внесенное нами постановление Политбюро о концепции развития столицы. В нем содержалось очень важное решение о прекращении набора рабочих по лимиту. Лимит просто терзал Москву. Руководители предприятий, имеющие возможность набирать таким образом рабочих, использовали их на самых неквалифицированных работах. Порочная практика лимита тормозила модернизацию предприятий, потому что гораздо легче было набрать бесконечное число иногородних, чем усовершенствовать производство.

Лимитчики по сути своей оказались рабами развитого социализма конца XX века, не имеющими практически никаких прав. Они были привязаны намертво к предприятию временной московской пропиской, общежитием и заветной мечтой о прописке постоянной. С ними можно было вытворять все что угодно, нарушая закон, КЗОТ: они не пожалуются, никуда не напишут. Чуть что — лишаем

временной прописки, и катись на все четыре стороны. А унижение, несправедливость многие заливали водкой. Там, где располагались общежития лимитчиков, криминогенная обстановка была одной из самых напряженных. Кстати, уже через несколько месяцев после моего ухода прописка по лимиту для некоторых организаций была опять возрождена.

Другое важное решение, принятое нами в тот период, относилось к определению предприятий, которые надо было убирать из Москвы, — это касалось заводов, фабрик, загрязняющих город, выпускающих продукцию, вывозимую из столицы. Наметили планы по улучшению структуры центра: надо было выселять многочисленные конторы и отдать центр под магазины, театры, музеи, закусочные, рестораны и т. д.

Крупные акции были проведены по МГИМО, Министерству внешней торговли, Министерству иностранных дел. Когда принесли материалы комиссии по проверке состояния дел в этих уважаемых учреждениях, было от чего ужаснуться: родственные связи, какие-то махинации и прочее, прочее.

Ситуация с этими ведомствами удивительная. Она очень точно отражала всю суть пропитавшей общество двойной морали и откровенного лицемерия. С больших и малых трибун, из всех пропагандистских орудий грохотала истерика по поводу загнивания капитализма, страшных болезней западного общества, ужаса «ихнего» образа жизни и т. д. и т. п. А в это же время папы — номенклатурные начальники делали все возможное и невозможное, чтобы запихнуть своих любимых чад в институты, готовящие дипломатов, специалистов для выезда за рубеж. Они готовы были говорить любую ложь, сочинять любую сказку про «развитой социализм», про доживающий последние дни конвульсирую-щий Запад, лишь бы пустили их туда в командировку, хотя бы на месяц-год позагнивать. А там можно было на суточные купить магнитофоны, продать их в комиссионках и выручить сумму с многочисленными нулями.

Пришлось наводить в этих, долгие годы закрытых для критики, организациях капитальный порядок. С МИДом было легче, пришел Шеварднадзе и сам быстро разобрался с псевдоспециалистами, заполнившими главное внешнеполитическое ведомство страны. В МГИМО и Министерстве внешней торговли дело с оздоровлением коллективов шло медленнее, но и там сменили партийное руководство, административное, потихоньку ситуация выправлялась.

Режим работы даже для меня, двужильного, был на самом пределе: с семи утра до двенадцати, а то и до часу, до двух ночи, и полностью рабочая суббота. В воскресенье обязательно или полдня по ярмаркам ездил, или выступления писал, доклады, отвечал на письма и прочее.

Когда слушаю разговоры о том, что, мол, если руководитель работает по двадцать часов в сутки, значит он плохой организатор, поскольку не может правильно составить режим работы, я считаю все эти разговоры несерьезными. Конечно, я мог бы, допустим, после бюро, которое закончилось в восемь вечера, поехать домой — к семье, детям. И это считалось бы хорошей организацией труда. А если после работы еду в магазин, посмотреть, что сегодня на прилавках, потом заеду на завод, поговорю с рабочими, своими глазами увижу, как организована вечерняя смена, и к двенадцати ночи вернусь домой — это плохая организация труда? Нет, это все ленивые выдумали, для собственного оправдания. В тот момент у меня вообще не было такого понятия — свободное время.

Помню, ночью я приезжал домой, охранник открывал дверь «ЗИЛа», а сил вылезти из машины не было. И так сидел минут пять-десять, приходя в себя, жена стояла на крылечке, волнуясь, смотрела на меня. Сил не было рукой пошевелить, так изматывался.

Я, конечно же, не требовал такой отдачи от других, но вот разговоры про начальника, не умеющего организовать свой труд, терпеть не могу.

Несмотря на, казалось бы, явные перемены к лучшему, на эмоциональный всплеск, подхлестнувший всю страну, я чувствовал, что мы начали упираться в стенку. Что просто новыми красивыми словами про перестройку и обновление на этот раз отговориться не удастся. Нужны конкретные дела и новые шаги вперед. А Горбачев эти шаги не делает.

И больше всего он боится прикасаться к партийно-бюрократической машине, к этой святая святых нашей системы. Я в своих выступлениях на встречах с москвичами явно ушел дальше. Естественно, ему обо всем докладывали, отношения стали ухудшаться.

Постепенно я стал ощущать напряженность на заседаниях Политбюро по отношению не только ко мне, но и к тем вопросам, которые я поднимал. Чувствовалась какая-то отчужденность. Особенно ситуация обострилась после нескольких серьезных стычек на Политбюро с Лигачевым по вопросам льгот и привилегий. Так же остро поспорил с ним по поводу постановления о борьбе с пьянством и алкоголизмом, когда он потребовал закрыть в Москве пивзавод, свернуть торговлю всей группы спиртных напитков, даже сухих вин и пива.

Вообще, вся его кампания против алкоголизма была просто поразительно безграмотна и нелепа. Ничто не было учтено, ни экономическая сторона дела, ни социальная, он бессмысленно лез напролом, а ситуация с каждым днем и каждым месяцем ухудшалась. Я об этом не раз говорил Горбачеву. Но он почему-то занял выжидательную позицию, хотя, по-моему, было совершенно ясно, что кавалерийским наскоком с пьянством, этим многовековым злом, не справиться. А на меня нападки ужесточались. Вместе с Лигачевым усердствовал Соломенцев. Мне приводились в пример республики: на Украине на сорок шесть процентов сократилась продажа винно-водочных изделий. Я говорю: подождите, посмотрим, что там через несколько месяцев будет. И действительно, скоро повсюду начали пить все, что было жидким. Стали нюхать всякую гадость, резко возросло число самогонщиков, наркоманов.

Пить меньше не стали, но весь доход от продажи спиртного пошел налево, подпольным изготовителям браги. Катастрофически возросло количество отравлений, в том числе со смертельными исходами. В общем, ситуация обострялась, а в это время Лигачев бодро докладывал об успехах в борьбе с пьянством и алкоголизмом. Тогда он был вторым человеком в партии, командовал всеми налево и направо. Убедить его в чем-то было совершенно невозможно. Мириться с его упрямством, дилетантизмом я не мог, но поддержки ни от кого не получал. Настала пора задуматься, что же делать дальше.

Я все-таки надеялся на Горбачева. На то, что он поймет всю абсурдность политики полумер и топтания на месте. Мне казалось, что его прагматизма и просто природной интуиции хватит на то, чтобы понять — пора давать бой аппарату; угодить и тем и этим, номенклатурщикам и народу — не удастся. Усидеть одновременно на двух стульях нельзя.

Я попросился к нему на прием для серьезного разговора. Беседа эта продолжалась в течение двух часов двадцати минут, и недавно, разбирая свои бумаги, я нашел тезисное изложение той встречи. Помню, вернулся от него возбужденный, в памяти все было свежо, и я быстро все записал.

По сути, последний, как говорят в театре, третий звонок прозвенел для меня на одном из заседаний Политбюро, где обсуждался проект доклада Горбачева, посвященного 70-летней годовщине Октября. Нам, членам, кандидатам в члены Политбюро и секретарям ЦК, его раздали заранее. Было дано дня три для внимательного изучения.

Обсуждение шло по кругу, довольно коротко. Почти каждый считал, что надо сказать несколько слов. В основном оценки были положительные с некоторыми непринципиальными замечаниями. Но когда дошла очередь до меня, я достаточно напористо высказал около двадцати замечаний, каждое из которых было очень серьезно. Вопросы касались и партии, и аппарата, и оценки прошлого, и концепции будущего развития страны, и многого другого.

Тут случилось неожиданное: Горбачев не выдержал, прервал заседание и выскочил из зала. Весь состав Политбюро и секретари молча сидели, не зная, что делать, как реагировать. Это продолжалось минут тридцать. Когда он появился, то начал высказываться не по существу моих замечаний, а лично в мой адрес. Здесь было все, что, видимо, у него накопилось за последнее время. Причем форма была крайне критическая, почти истеричная. Мне все время хотелось выйти из зала, чтобы не выслушивать близкие к оскорблению замечания.

Он говорил о том, что в Москве все плохо, и что все носятся вокруг меня, и что черты моего характера такие-сякие, и что я все время критикую и на Политбюро выступаю с замечаниями, и что он трудился над этим проектом, а я, зная об этом, тем не менее позволил себе высказать такие оценки доклада. Говорил он довольно долго, думаю, что минут сорок.

Честно скажу, я не ожидал этого. Знал, что он как-то отреагирует на мои слова, но чтобы в такой форме, не признав практически ничего из того, что было сказано!.. Кстати, многое потом в докладе было изменено, были учтены и некоторые мои замечания, но, конечно, не все.

Остальные тихо сидели, помалкивали и мечтали, чтобы их просто не заметили. Никто не защитил меня, но никто и не выступил с осуждением. Тяжелое было состояние. Когда он кончил, я все-таки встал и сказал, что, конечно, некоторые замечания я продумаю; то, что справедливо, — учту в своей работе, но большинство упреков не принимаю. Не принимаю! Поскольку они тенденциозны, да еще и высказаны в недопустимой форме.

Собственно, на этом и закончилось обсуждение, все разошлись довольно понуро. Ну, а я тем более. И это было началом. Началом конца. После этого заседания он как бы не замечал меня, хотя официально мы встречались минимум два раза в неделю: в четверг — на Политбюро и еще на каком-нибудь мероприятии или совещании. Он старался даже руки мне не подавать, сухо здоровался, в разговор не вступал.

Я чувствовал, что он уже тогда решил, что надо всю эту канитель со мной заканчивать. Я оказался

явным чужаком в его послушной команде.

10 марта 1989 года.

Никогда к этому не привыкну. Всякий раз, когда на меня обрушивается клевета, очередная провокация, страшно расстраиваюсь, переживаю, хотя пора бы уже реагировать бесстрастно и спокойно. Не могу!

Недавно мне позвонили из нескольких мест и сообщили, что в райкомы партии спущено анонимное методическое пособие на десяти страницах по дискредитации кандидата Ельцина. Очень скоро один экземпляр мне принесли. Заставил себя прочитать этот текст и опять расстроился. Не из-за того, конечно, что избиратели отвернутся, — полагаю, нормальный, порядочный человек не примет такую анонимку. Поразила меня степень убожества, падения нашего идеологического аппарата, идущего на самые низкие и бесстыдные поступки.

Авторство этой поделки установить так и не удалось, но исходила она из достаточно высокой инстанции, поскольку послужила руководством к незамедлительным и активным действиям. Секретари райкомов партии вызывали партийный актив предприятий, организаций, собирали их в райкомовских залах и зачитывали вслух этот пасквиль. Не могу удержаться, чтобы не процитировать особо памятные места:

«Как ни парадоксально, являясь сторонником нажимных, авторитарных методов в работе с кадрами, он считает возможным входить в общественный совет «Мемориала». Не слишком ли велик диапазон его политических симпатий? И «Мемориал», где он оказался в одной команде с Солженицыным, и «Память», на встречу с которой он с охотой пошел в 1987 году. Не та ли это гибкость, которая на деле оборачивается беспринципностью?»

«Он очень активно борется за выдвижение в на родные депутаты, по существу пошел ва-банк».

«Что движет им? Интересы простых людей? Тогда почему их нельзя практически защищать в нынешнем качестве министра? Скорее всего, им движут уязвленное самолюбие, амбиции, которые он так и не смог преодолеть, борьба за власть. Тогда почему избиратели должны становиться пешками в его руках?»

«Создается впечатление, что в депутатских делах он ищет легких путей, удобную „политическую крышу"».

«Это не политический деятель, а какой-то политический лимитчик».

Предполагалось, что после читки этого документа партийные работники должны пойти в свои коллективы и там открыть глаза трудящимся: какой же, оказывается, нехороший, можно сказать, гнусный тип этот самый Ельцин.

Задумка сорвалась. Нет, конечно, идеологические работники на местах пошли в массы. Но там их так встретили!.. А многие, кстати, и не пошли вовсе, на всякий случай. Кто-то просто возмутился прямо на этих читках и потребовал прекратить провокацию против кандидата в депутаты. В общем, разная реакция была. Но то, что эффекта эта аппаратная выдумка не дала никакого, абсолютно точно. Спасибо газете «Московские новости», она выступила с разоблачением этой акции.

Когда я как-то сел и спокойно подсчитал, сколько было устроено против меня больших и малых провокаций только ради одной цели — чтобы я не был избран, даже сам удивился — этого количества хватило бы на весь Верховный Совет. Срывавшиеся встречи с трудовыми коллективами, потому что не давали залов, распространявшиеся организованным способом анонимки, фальсификация и обман — все это я получил в полной мере.

Совсем грустно стало, когда за дело взялся Центральный Комитет КПСС. Это произошло на Пленуме, на котором, кстати, проводились просто позорные выборы от КПСС как общественной организации. Тогда и была принята специальная резолюция по моему делу. На следующий день во всех газетах было опубликовано решение о создании комиссии во главе с членом Политбюро В. А. Медведевым по проверке моих высказываний на встречах с избирателями, митингах и т. д.

Все началось с выступления рабочего Тихомирова, члена ЦК КПСС, эдакого классического послушного и исполнительного псевдопередовика, взлелеянного и подкармливаемого системой. Таких в недавнем прошлом было много, они являлись как бы выразителями рабочего класса и от его имени поддерживали и одобряли любые, самые авантюрные решения партии и правительства. Начиная от ввода войск в Чехословакию, высылки Солженицына, травли Сахарова и заканчивая бурной поддержкой войны в Афганистане. Для этих целей всегда имелись вот такие «карманные» рабочие.

Писатель Даниил Гранин хорошо его назвал — «номенклатурный Тихомиров».

Так вот, он выступил на Пленуме с заявлением, что мы не можем больше позволить иметь в своих крепких рядах ЦК такого, как этот Ельцин. Он выступает перед избирателями на митингах и собраниях, клевеща на партию, позволяет себе высказываться даже в адрес Политбюро, и к тому же он сам бюрократ, хотя в своих выступлениях ругает бюрократию, говорил Тихомиров, я попытался попасть к нему в кабинет, но в течение сорока минут он держал меня, члена ЦК, в приемной...

Это была очередная ложь. Он действительно приходил ко мне и действительно ждал в приемной, но пришел без предупреждения, а в этот момент у меня шло совещание с ведущими специалистами Госстроя. Но как только секретарь мне сообщила, что в приемной ждет Тихомиров, я, зная его, попросил товарищей сделать перерыв. Мы с ним переговорили, пришел он по совершенно несущественному поводу. У меня тогда еще зародилось сомнение: что это он решил ко мне заглянуть?.. А когда он выскочил на Пленуме, все стало ясно.

Я сразу же выступил вслед за ним, сказал, что это клевета. Горбачеву в этой ситуации повести бы дело тоньше, не обращать внимания на этот явно несерьезный провокационный выпад против меня. Но, видимо, он уже был сильно заведен, а скорее всего, вся ситуация была заранее продумана. Он предложил создать эту самую комиссию.

Известие об этом еще больше возмутило людей. В эти дни я получил письма, телеграммы со всей страны с протестами против создания комиссии ЦК. Решение Пленума, честно сознаюсь, добавило мне еще несколько процентов голосов.

«Скажите, наши партийные руководители знают, что в стране нет элементарного: что поесть, во что одеться, чем умыться? Они что, живут по другим законам?»

«В пору разрешенной гласности нам, кажется, все рассказали. Доверили даже тайны политической власти времен «не столь отдаленных». А почему о жизни нынешних правителей — молчок?

Почему народ ничего не знает о своих лидерах, их доходах, их нормах жизни? Или это тайна?»

«Расскажите, как Вы чувствовали себя в «номенклатурном раю»? Правда ли, что там давно и прочно властвует коммунизм?»

(Из записок москвичей во время встреч, митингов, собраний)

Так получилось, что избрание Горбачева Генеральным секретарем в марте 1985 года на Пленуме ЦК обросло различными слухами. Один из мифов гласит, что четыре члена Политбюро, выдвинув Горбачева, решили судьбу страны. Лигачев это сказал прямым текстом на XIX партконференции, чем просто оскорбил, по-моему, самого Горбачева да и всех, кто принимал участие в выборах Генерального секретаря. Конечно же, борьба была. В частности, я уже говорил, нашли список состава Политбюро, который Гришин подготовил, собираясь стать лидером партии. В него он внес свою команду: ни Горбачева, ни многих других в том списке, естественно, не было.

И все-таки в этот раз судьбу Генерального секретаря решал Пленум ЦК. Практически все участники Пленума, в том числе и опытные, зрелые первые секретари, считали, что вариант с Гришиным невозможен, — это был бы немедленный конец для партии, для страны. За короткий срок он сумел бы засушить всю партийную организацию страны, как он засушил московскую. Этого допустить было ни в коем случае нельзя. К тому же нельзя было забывать о его личных чертах: самодовольство, самоуверенность, чувство непогрешимости, страсть к власти.

Большая группа первых секретарей сошлась во мнении, что из состава Политбюро на должность Генсека необходимо выдвинуть Горбачева — человека наиболее энергичного, эрудированного и вполне подходящего по возрасту. Решили, что будем делать ставку на него. Побывали у некоторых членов Политбюро, в том числе у Лигачева. Наша позиция совпала и с его мнением, потому что Гришина он боялся так же, как и мы. И после того, как стало ясно, что это мнение большинства, мы решили, что, если будет предложена другая кандидатура — Гришина, Романова, кого угодно, — выступим дружно против. И завалим.

В Политбюро, по-видимому, так и происходил разговор, наша твердая решимость была известна участникам заседания, поддержал эту точку зрения и Громыко. Он же на Пленуме выступил с предложением о выдвижении Горбачева. Гришин и его окружение не рискнули что-либо предпринимать, они осознали, что шансы их малы, а точнее, равны нулю, поэтому кандидатура Горбачева прошла без каких-либо сложностей. Это было в марте.

А 23 апреля 85-го состоялся знаменитый апрельский Пленум Центрального Комитета партии, где Горбачев провозгласил основные моменты своего будущего курса — курса на перестройку.

Люди поверили в Горбачева — политика, реалиста, приняли его международную политику нового мышления. Всем было ясно, что так жить, работать, как это происходило многие годы, нельзя. Для страны это было равносильно самоубийству. Был сделан правильный шаг, хотя, конечно же, это была революция сверху. А такие революции в конечном счете неизбежно оборачиваются против аппарата, если он не в состоянии удержать народную инициативу в приемлемом для себя русле. И этот аппарат начал сопротивляться перестройке, тормозить ее, бороться с ней, и она забуксовала на месте. К тому же, к сожалению, концепция перестройки оказалась непродуманной. В большой степени она выглядела как набор новых звучных лозунгов и призывов. Хотя слова эти на самом деле совсем не новые, они встречаются и у Канта: и перестройка, и гласность, и ускорение, — эти слова были в обиходе не одну сотню лет назад.

Когда я читал книгу Горбачева «Перестройка и новое мышление», то надеялся там найти ответы на вопросы, каким ему представляется наш путь вперед, но почему-то у меня не сложилось впечатления теоретической цельности от этой работы. Неясно, как он видит перестройку нашего дома, из какого материала предполагает перестраивать его и по каким чертежам. Главная беда Горбачева, что он не делал и не делает в этом отношении глубоко теоретически и стратегически продуманных шагов. Есть только лозунги. Удивительно, но с апреля 1985 года, когда была провозглашена перестройка, прошло больше пяти лет. Почему-то всюду этот период, целых пять лет, называют началом, первым этапом, первыми шагами и т. д.

На самом деле это много, в США — это президентский срок. За четыре года президент должен сделать все, что обещал, что было в его силах. Если страна не продвинулась вперед, его переизбирают. При Рейгане в США произошли позитивные перемены во многих вопросах, и его выбрали на новый срок. Он оказался не так прост, как нам его преподносили. Хотя, конечно, болячки остались. И за восемь лет он их не мог все залечить. Но огромные сдвиги, особенно в стабилизации экономики, были налицо.

У нас же ситуация за эти годы обострилась до такой степени, что сегодня мы уже боимся за завтрашний день. Особенно катастрофично положение с экономикой. Главная беда Горбачева — боязнь делать решительные и крайне необходимые шаги — проявилась здесь в полной мере.

Но, впрочем, не будем торопиться... Став секретарем ЦК, потом кандидатом в члены Политбюро, я окунулся в совершенно новую жизнь. Участвовал во всех заседаниях Политбюро и иногда Секретариата ЦК. Политбюро проходило каждый четверг в 11 часов утра, заканчивалось по-разному: и в четыре, и в пять, и в семь, и в восемь вечера.

В этом отношении заседания, конечно, не были похожи на те, которые вел Брежнев, когда просто готовились проекты постановлений и за пятнадцать-двадцать минут все решалось. Спрашивалось: нет возражений? Возражений не было. Политбюро разъезжалось. Для Брежнева в тот момент существовала одна страсть — охота. И ей он отдавался до конца.

При Горбачеве было совсем иначе. Заседания начинались обычно так. Члены Политбюро собирались в одной комнате. Кандидаты, как вторая категория состава Политбюро, и секретари ЦК, как третья, выстроившись в ряд, ждали в зале заседаний, когда появится Генеральный. За ним шли все остальные члены Политбюро по рангу. Обычно за Горбачевым шел Громыко, потом Лигачев, Рыжков и дальше — по алфавиту. Как хоккеисты, проходили около нашей шеренги, каждый здоровался за руку друг с другом, иногда одна-две фразы на ходу, а часто просто молча. Затем рассаживались по обе стороны стола, место каждого было определено, а во главе стола, стоящего поперек, садился председательствующий — Горбачев.

Забавно, что так же, по категориям, мы все и обедали во время перерыва. В связи с этим мне вспоминается Свердловск, где обед я специально превратил в неформальный обмен мнениями по всеобщим вопросам. Секретари обкома, члены бюро (иногда приглашали заведующих отделами) за тридцать-сорок минут обеденного времени успевали решить целый ряд вопросов.

Здесь, на вершине, так сказать, на партийном Олимпе, кастовость соблюдалась очень скрупулезно.

Итак, заседание Политбюро объявлялось открытым. Горбачев практически не спрашивал, есть ли у кого-то замечания по повестке дня. Начиная заседания, мог поделиться какими-то воспоминаниями, где что он видел, в том числе и в Москве. В первый год моей работы первым секретарем горкома партии такого обычно не было, а во второй год — он все чаще начинал именно с этих вопросов: то-то в Москве не так, то-то плохо, давал мне, так сказать, внутренний эмоциональный настрой.

Дальше начиналось обсуждение какого-то вопроса. Например, кадры, утверждение министров, с

которыми перед этим иногда разговаривал Горбачев, а иногда вообще не беседовал, сразу будущего министра вызывали на Политбюро. На заседании кандидат подходил к трибуне, ему задавали несколько вопросов, как правило, мало что значащих, формальных, не проясняющих позицию, точку зрения, взгляд на вещи. В основном утверждение каждого кандидата длилось пять-семь минут.

Обсуждение любого вопроса начиналось с предварительного знакомства с материалами повестки дня заседания Политбюро. Но, на мой взгляд, давали их поздновато. Иногда, правда, знакомили за неделю, но чаще — за сутки-двое, и потому изучить глубоко вопрос, касающийся принципиальных сторон жизни страны, за такой срок практически было невозможно. А надо было бы посоветоваться со специалистами, обсудить его с теми, кто владеет данной проблемой. Но времени давалось мало, то ли специально, то ли из-за недостаточной организованности. Вопросы Секретариата ЦК нередко вообще возникали в пожарном порядке, соответственно так и обсуждались — на одних эмоциях, чаще некомпетентно. Это закручивание особенно любил Лигачев, когда проводил Секретариаты ЦК. Де-юре он не являлся вторым человеком в партии, а фактически тот, кто вел Секретариат ЦК, всегда считался таковым.

Секретариат проходил каждый вторник. Разделение между двумя этими органами управления партии достаточно условно. Впрочем, у Секретариата ЦК были менее важные вопросы, а если вопрос серьезный, то назначалось совместное заседание Секретариата и Политбюро ЦК. И все-таки, несмотря на внешнюю демократичность, это были аппаратные обсуждения. Аппарат готовил проекты, затем их, по сути в отрыве от жизненной ситуации, не зная реального положения дел, и принимали. Некоторые вопросы обсуждались с приглашением ряда руководителей, в основном тех, кто участвовал в подготовке проекта, а проекты готовил аппарат. Так что это был замкнутый круг. И конечно, я это хорошо знал, поскольку почти полгода работал заведующим отделом ЦК, то есть видел всю эту аппаратную работу изнутри.

Обычно вводное слово произносил Горбачев, делал это он всегда пространно, иногда приводил в подтверждение своих мыслей кое-какие письма, которые для него подбирали. Вся эта прелюдия обычно предопределяла итоги обсуждения проекта, постановления, подготовленного аппаратом. Поэтому так и получилось, что аппарат на самом деле ведал всем. Члены Политбюро зачастую чисто формально участвовали в обсуждении этих вопросов. В последнее время Рыжков попытался сломать эту практику, предварительно обсуждая рассматриваемые вопросы на Совете Министров или со специалистами.

После вступительного слова Генерального, по порядку, слева направо — по две-пять минут, иногда по существу, чаще — чтобы отметиться, участники заседания высказывались: да-да, хорошо, повлияет, поднимет, расширит, углубит, перестройка, демократизация, ускорение, гласность, альтернатива, плюрализм — к новым словам начали привыкать и потому с удовольствием их повторяли.

Сначала пустопорожность наших заседаний была не так заметна, но чем дальше, тем яснее становилось, что наша деятельность зачастую бессмысленна. Горбачев все больше любовался собой, своей речью — округло говорить он любит и умеет, было видно, что власть его захватывает, он теряет чувство реальности, в нем живет иллюзия, что перестройка действительно широко и глубоко развивается, что она быстро завоевывает территории и массы. А в жизни все было не так однозначно.

Я не помню, чтобы кто-нибудь хотя бы раз попытался выступить достаточно резко против. Но я все-таки встревал. Сначала, конечно, больше прислушивался, а потом, когда получил возможность изучать проекты, вносимые на Политбюро, начал подавать голос, вначале тихо, потом громче, а затем, видя, что вопрос решается ошибочно, стал возражать, и достаточно настойчиво. Споры у нас были в основном с Лигачевым, Соломенцевым. Горбачев больше держал нейтральную позицию, хотя, если критика касалась той работы, которой он предварительно занимался, он, конечно, этого так оставить не мог. Обязательно давал отпор.

Хочется в нескольких словах рассказать о своих коллегах по Политбюро, с которыми работал вместе.

Наверное, стоит начать с А. А. Громыко, члена Политбюро, Председателя Верховного Совета СССР в тот момент. У Громыко была странная роль: он как бы существовал, что-то делал, с кем-то встречался, произносил речи, но на самом деле вроде бы и не нужен был никому. Как Председатель Президиума Верховного Совета СССР, по протоколу он обязан был проводить международные встречи, принимать гостей, но, поскольку переговоры в основном вел Горбачев или, в крайнем случае, они вдвоем, он оказался выключенным из реальной политической жизни. Громыко был как бы перенесен в настоящее из далекого и не очень далекого прошлого. При этом, естественно, он не очень сильно понимал, что происходит вокруг, о чем вообще идет речь. На Политбюро он почти всегда выступал по любому вопросу. Выступал всегда долго, а когда шло обсуждение международных вопросов, тут уж он считал нужным обстоятельно вспомнить минувшие годы, как дела обстояли, когда он работал в Америке, а по-

том министром иностранных дел, как он встречался с тем-то, и это очень важно учесть, а еще вот он помнит заседания ООН... И так далее. Иногда эти стариковские, безобидные, конечно, но совершенно неуместные и бессмысленные воспоминания продолжались по полчаса, и по Горбачеву было видно, что он еле сдерживает все свое терпенье.

Этот, когда-то деятельный, человек доживал свой век в каком-то им самим созданном, изолированном мире. Его неожиданные заявления на Политбюро типа: «Вы представляете, товарищи, в таком-то городе мяса нет» — вызывали большое оживление. То, что мяса нигде давно уже нет, все присутствующие знали прекрасно... У Громыко был достаточно свободный график. Приезжал на работу к десяти, одиннадцати, уезжал в шесть, по субботам отдыхал, — короче, сильно не утруждал себя, да этого от него и не требовалось. Было важно, чтобы он исправно выполнял свою роль и сильно не мешал.

Ко мне он относился нормально. Более того, уже после моего выступления на октябрьском Пленуме 87-го года, когда я еще оставался в составе Политбюро, он, пожалуй, единственный продолжал вести себя так же, как и раньше: здоровался, расспрашивал, как идут дела, и т. д.

Председатель Совета Министров СССР Н. И. Рыжков. Он всегда был в тени, несмотря на свою высокую должность. После трагических событий в Армении, когда ему в экстремальной ситуации пришлось буквально собственными руками раскачивать проржавевший механизм экстренной помощи, не спать сутками, — народ, по-моему, впервые обратил внимание на то, что у нас есть свой премьер-министр. И все-таки, мне кажется, Рыжкову трудно в этой должности — Председателя Совета Министров. Именно сейчас, когда необходимо вытянуть страну из экономического хаоса, из той пропасти, в которой она находится...

Позднее как министр, первый зам. председателя Госстроя я должен был присутствовать на заседаниях

Совета Министров, но, побывав там дважды, понял, что нормальному здравомыслящему человеку выдержать эту неорганизованность и бестолковщину очень сложно. Один министр жалуется на другого, тот на третьего, они выходят на трибуну не подготовленными, отталкивают друг друга от микрофона, и, естественно, в такой атмосфере найти какое-то коллективное решение сверхтрудно. С тех пор я решил времени зря не тратить и больше там не появлялся. Хочется верить, что сейчас заседания Совета Министров проходят иначе. Все-таки министры выдержали достаточно серьезное чистилище Верховного Совета, да к тому же и ситуация в стране такова, что на пустопорожние разговоры совсем нет времени.

М. С. Соломенцев, член Политбюро, председатель Комитета партийного контроля. Последнее время он вел себя очень неуверенно, как будто чего-то ждал. Выступал редко. Правда, если дело касалось вопросов, имеющих отношение к постановлению по борьбе с пьянством, тут он все время поддерживал Лигачева, они нашли друг друга. Когда Соломенцева убрали, Лигачеву стало тоскливо. Больше это бредовое постановление поддерживать никто не стал. С Соломенцевым меня свела судьба, когда ему как председателю Комитета партийного контроля поручили взять объяснения по поводу моих выступлений в западной прессе. Понятно, разговор пошел совсем не так, как хотелось Соломенце-ву. Виниться я не стал, поскольку считал себя абсолютно правым, и любые мои высказывания, касающиеся критики членов Политбюро или тактики перестройки, ни Конституции, ни Уставу КПСС не противоречили. Вообще Соломенцев во время этой беседы выглядел нервно и неуверенно. Временами его становилось даже жалко: ему дали задание, а выполнить он его не может. Грустная картина.

Дальше В. М. Чебриков. Сначала председатель КГБ выступал редко, только если речь заходила о глушении западных радиостанций или о том, сколько людей выпускать за границу. В скором времени он стал секретарем ЦК, уйдя с поста председателя КГБ. Этот шахматный ход был удобен Горбачеву; комитет возглавил послушный и преданный Крючков. Но по-прежнему все правоохранительные органы и КГБ остались в руках бывшего шефа КГБ. Главное, у Чебрикова осталась психология кагэбэшника: всюду видеть происки Запада, шпионов, никого не пущать, всех причесывать под одну гребенку. Для него нынешний плюрализм и нынешняя гласность — как нож в сердце, удар по годами прекрасно функционирующей и послушной системе.

В. И. Долгих. К его несчастью, Гришин записал Долгих в список своих ближайших сторонников, собирался включить его в состав членов Политбюро и предполагал поставить его на место Председателя Совета Министров. Конечно, те, кто попал в гришинскую команду, практически были обречены, и многие действительно вскоре простились со своими креслами. Но Долгих еще работал. Пожалуй, это был один из наиболее профессиональных, эффективно работающих секретарей ЦК. Так до своей пенсии он и оставался кандидатом в члены Политбюро. Относительно молодым, ему еще не было и пятидесяти лет, он стал секретарем ЦК, приехав из Красноярска. Долгих отличали системность, взвешенность — он

никогда не предлагал скоропалительных решений, самостоятельность, конечно, в пределах допустимого.

Когда, например, на Политбюро шло обсуждение моей кандидатуры на должность секретаря ЦК, это происходило без моего участия, все активно поддержали предложение, зная, что я, так сказать, выдвиженец Горбачева. И только Долгих сообщил свою точку зрения, сказав, что Ельцин иногда слишком эмоционален, что-то в этом духе... Секретарем ЦК меня избрали. И скоро, естественно, мне сообщили о его словах. Я подошел к нему, конечно, не для того, чтобы выяснить отношения, просто хотелось услышать его мнение не в пересказе, да и важно было самому разобраться в своих ошибках, все-таки я только начинал работу в ЦК. Он спокойно повторил то, что говорил на Политбюро, сказал, что считает решение о назначении меня секретарем ЦК совершенно правильным, но только свои эмоции, свою натуру надо сдерживать. Как ни странно, этот не слишком приятный для меня эпизод не отдалил нас, а наоборот, сблизил. Появился особый человеческий контакт, доверительность — вещи, совершенно дефицитные в стенах здания ЦК КПСС.

На заседаниях Политбюро мы сидели рядом и часто очень откровенно обсуждали возникающие в стране проблемы и то, как они решаются — наскоком, поспешно. В своих выступлениях он не любил критиковать, а просто высказывал личное — четкое, ясное и продуманное предложение. Мне кажется, он очень полезен был Политбюро, но вскоре его «увели» на пенсию.

А. И. Лукьянов долгое время был чуть ли не самой незаметной фигурой среди высшего партийного эшелона власти. Он занимал пост первого заместителя Председателя Верховного Совета СССР. После возникновения новой ситуации с выборами, съездом народных депутатов, работой сессии Верховного Совета его роль резко возросла, и тут же в полной мере проявился набор партийно-бюрократических качеств высокопоставленного аппаратчика — негибкость, отсутствие внутренней свободы, широты мысли... Он с трудом управляет нестандартными ситуациями, нередко возникающими в работе Верховного Совета, впадает в панику, начинает сердиться... При нормальных свободных выборах, которые, я уверен, все-таки состоятся, Лукьянову трудно будет удержаться на своем посту.

Д. Т. Язов, министр обороны. Это — настоящий вояка, искренний и усердный. Ему можно бы доверить командование округом или штабом, но к должности министра обороны он не подготовлен. Совершенно не приемлет критику, и, если бы не буквально жесточайший прессинг Горбачева на депутатов, никогда Язов не был бы утвержден на должность министра. Как можно от этого стопроцентного «продукта» старой военной машины ждать каких-либо позитивных перемен в армии, нового гибкого подхода к решению проблем обороноспособности страны, для меня неясно. Генерал, он и есть наш отечественный генерал, с тоской глядящий на все гражданское население страны и в глубине души мечтающий призвать всех взрослых на вечные воинские сборы. Утрирую, конечно. Но мне лично симпатична американская традиция назначения на должность министра обороны — им может стать только гражданское лицо. Это абсолютно верно. Все-таки у профессионального военного мозги чуть-чуть перевернуты на милитаристский лад, ему всегда чудится угроза и все время хочется хотя бы немножко повоевать.

В. В. Щербицкий, первый секретарь ЦК компартии Украины. Пребывание этого человека в составе Политбюро в полной мере демонстрирует нерешительность и половинчатость действий Горбачева. Я почти на сто процентов уверен, что в тот момент, когда читатель знакомится с этой книгой, Щербицкий снят, по-видимому с позором [Так и случилось. Когда книга была готова к печати, прошел сентябрьский Пленум ЦК КПСС, где Щербицкого отправили на пенсию. Я ошибся в другом: сняли его не с позором, а с почестями более того, поблагодарили за прекрасную работу.]. Но сейчас, в августе 1989 года, он сидит на своем месте, человек, абсолютно дискредитировавший себя. Горбачев боится его трогать так же, как в свое время он не хотел решать вопрос с Г. А. Алиевым, когда всем уже было ясно, что держать этого погрязшего в мелких и крупных корыстных делах человека в составе Политбюро просто невозможно. Я специально пришел к Горбачеву с папкой документов и почти час уговаривал: Михаил Сергеевич, стыдно сидеть вместе с ним, мы не можем так позорить Политбюро. Такой меня тогда и не послушал. Правда, в конце концов Алиева отправили на почетную персональную пенсию. Но почему надо было так долго решать эту кричащую, однозначно решаемую проблему?! И со Щер-бицким та же ситуация, Горбачев не хотел связываться с этим образцовейшим героем эпохи застоя.

А. Н. Яковлев, секретарь ЦК, член Политбюро. Наиболее умный, здравый и дальше всех видящий политик. Я всегда получал удовольствие, слушая его очень точные замечания и формулировки по обсуждаемым на Политбюро вопросам. Конечно, он осторожен, не лез на рожон против Лигачева, как это делал я. Но! безусловно, они полные антиподы, модель социализма по Яковлеву диаметрально противоположна лигачевской казарменно-колхозной концепции социализма. При этом они вынуждены

уживаться вместе. И каждый вслед за Горбачевым произносит убогую и вымученную фразу про единство Политбюро.

В. А. Медведев, секретарь ЦК, член Политбюро. После того как Горбачев растащил главных спорщиков по вопросам идеологии, Лигачева, и Яковлева, по углам, поручив одному сельское хозяйство, а другому международные дела, Медведев стал главным идеологом страны. Справляется он с этими обязанностями с большим трудом, а точнее будет сказать, совсем не справляется. Главные достоинства, из-за которых Горбачев поставил его на это место, — послушание и отсутствие новых мыслей и идей. Но, как выяснилось, в сегодняшнее бурное время при таком наборе качеств с этой ролью не справиться. Нынче, в эпоху гласности и перестройки, даже для того, чтобы защищать аппарат, командно-административную и партийно-бюрократическую систему, нужен другой, более гибкий и изощренный ум. Помню, когда я еще работал первым секретарем Свердловского обкома партии, Медведев встречался со свердловчанами и через тридцать минут, не закончив своего выступления, вынужден был с позором покинуть трибуну. Даже в те времена его клише, примитивные сентенции и газетно-штампованные фразы слушать было невозможно. Понятно, что сегодня идеологией он руководит в меру своих сил и скромных возможностей и главная партийная газета «Правда» уверенно теряет своих подписчиков. Но Медведев крепко сидит на своем месте и будет сидеть до тех пор, пока не завалит идеологию окончательно.

Перечитал я эти несколько страниц о своих бывших коллегах по Политбюро, и самому тяжело стало. Это и есть главный штаб перестройки? Это и есть мозг партии? Лучшие умы страны?

Впрочем, о чем это я? А разве можно было ждать чего-либо иного? Кто у нас в Политбюро: либо деятели, медленно взбиравшиеся вверх по ступенькам иерархии ЦК, аппаратчики до мозга костей, например, Лукьянов, Медведев, Разумовский; либо бывшие первые секретари обкомов или крайкомов партии — Горбачев, Лигачев, кстати, не забуду упомянуть и Ельцина, также сделавшего партийную карьеру в брежневскую эпоху застоя.

Я всегда понимал, почему многие приличные люди продолжали относиться ко мне с подозрением, даже когда я попал в опалу. Потому что Ельцин все равно партийный функционер, бывший первый секретарь обкома. Нельзя, невозможно попасть на это место, а уж тем более перебраться в ЦК и остаться при этом приличным, смелым, свободно мыслящим человеком. Чтобы сделать партийную карьеру, и это всенародное мнение, надо изощряться, приспосабливаться, быть догматиком, делать одно, а думать другое. Тут оправдываться бессмысленно. В такой ситуации остается лишь своим трудом и своей позицией завоевывать доверие людей.

Иногда сам себе задаю вопрос: как же я оказался среди них? Почему вдруг многолетне отлаженная, тщательно продуманная система отбора своих, особых, себе подобных, вдруг дала сбой? Я ведь не выдержал, взбрыкнул, а этого никогда, многие десятки лет не происходило. Видимо, какой-то механизмик не сработал, где-то заклинило... Каждый новый претендент в секретари ЦК или в состав Политбюро тщательно изучается, про него все известно: что он думает, чего он хочет, никаких загадок нет. Особенности моего характера и независимость суждений были известны Горбачеву. Наверное, планируя на будущее вопросы перестройки, он посчитал необходимым иметь в Политбюро человека, который не будет вести себя послушно. Но, вероятно, постепенно у него менялся взгляд на эти вещи, его все больше и больше захватывал процесс концентрации власти, жажда управлять, ему хотелось чувствовать эту власть — ежеминутно, всегда. Чтобы выполнялись только его поручения, только его мнение было последним, окончательным, правильным. К этому он очень быстро привык, и ему уже стал не нужен человек, способный вступить с ним в спор.

С вершины пирамиды партийной власти стиль поддакивания Горбачеву спускался ниже. Вообще, работа аппарата ЦК КПСС — явление уникальное. Мы часто ругаем министерства, поскольку они ничего не производят, а сидят на шее своих предприятий. Но все-таки их деятельность хотя бы косвенно можно оценить успехами отрасли. Но вот ЦК!.. Он ведь вообще ничего не производит. Ничего, кроме бумажек. Тонны бумажек. И успех работы определяется вот этими горами никому не нужных справок, отчетов, ответов, докладов, анализов, проектов и т. д. и т. п. Аппарат сегодня таков, каким является и Политбюро, и сам Центральный Комитет партии, — не лучше, не хуже. Он существует не для того, чтобы анализировать ситуацию, вырабатывать стратегию и тактику партии. Он являет собой как бы идеологическую обслугу высшего партийного эшелона. Сказал в недалеком прошлом Брежнев про развитой социализм, и вся эта огромная машина начала выдавать на-гора мифы о нем: как хорошо при нем живется, как он развивался и будет развиваться, что-то про его этапы и про его пути...

Было сначала у Горбачева свое понимание перестройки, более осторожное, чем сейчас, и эта махина

создавала объяснения сдержанной концепции нашего развития. Горбачев вынужден был со временем «полеветь», обстоятельства заставили, и аппарат ЦК послушно провозгласил другой, но все равно единственно верный путь, начертанный Генсеком. Все по принципу — чего изволите.

Все помнят трагикомическую историю, когда, приехав на ВАЗ в Тольятти, Горбачев объявил о том, что в ближайшее время нам надо стать законодателями моды в автомобилестроении. Газеты, телевидение тут же, как всегда, подхватили этот, взывающий к новым свершениям, лозунг. А специалисты в это же время не знали, куда девать глаза от стыда и ужаса. Заявить такое — это значит вообще не понимать, в какой стране мы живем, в каком положении она находится. Автомобиль — это же не просто железо с мотором, это сложнейшая цепочка взаимоотношений проектной, инженерной, производственной культур, это дороги, сервисное обслуживание и т. д. Убери из этой цепочки хотя бы одно звено, и все развалится, не то что лучшего — среднего автомобиля не получится. Так нет — будем законодателями моды! И ведь не сам же Горбачев это придумал, кто-то подсказал. А если и сам, то можно объяснить, поправить, чтобы не позориться. Но нет, у нас принято наоборот: любую, даже самую откровенную бессмыслицу с помощью прекрасно функционирующего пропагандистского аппарата выдавать за вершину человеческой мысли, прозорливости, мудрости.

Конечно же, партии аппарат нужен. Не до такой степени раздутый, сильно сокращенный, в нем должны работать лучшие умы партии, чтобы анализировать ситуации, предупреждать возможные повороты событий, четко видеть пути дальнейшего развития. Это особенно важно, учитывая ту роль, которую сегодня партия играет в жизни общества. А хоть одна конфликтная ситуация была предугадана и предупреждена, хотя бы один кризисный момент оказался решен сразу правильно? Законы о госпредприятиях и кооперации, Нагорный Карабах, Прибалтика и т. д. и т. д. — любая острая ситуация сначала загонялась в тупик, затем вырабатывалось как будто специально неправильное решение, и только через несколько месяцев с большими потерями его пытались исправить.

Сколько слов было сказано по поводу лживости буржуазной пропаганды, сочинившей секретные протоколы пакта Молотова — Риббентропа?! Сколько раз приходилось пропагандистскому аппарату говорить, что это все происки и фальшивки?! Хотя любому здравомыслящему человеку было ясно, что уже нельзя отнекиваться от того, что давно известно всем. Прошло время, и вот мы признали: да, секретные протоколы существуют, но сколько же уважения и авторитета мы потеряли из-за такой твердолобости.

Так функционирует аппарат ЦК, давая всей стране команды и указания. Но я еще раз повторяю, сам аппарат тут ни при чем, просто именно таким — угодливым и послушным — он нужен верхушке партии. Самостоятельный и независимый инструктор ЦК КПСС — такое сочетание слов даже выговорить невозможно.

Угодливость и послушание оплачиваются льготами, спецбольницами, спецсанаториями, прекрасной «цеков-ской» столовой и таким же замечательным столом заказов, «кремлевкой», транспортом. И чем выше поднимаешься по служебной лестнице, тем больше благ тебя окружает, тем больнее и обиднее их терять, тем послушнее и исполнительнее становишься. Все продумано. Зав. сектором не имеет личной машины, но имеет право заказывать ее для себя и для инструкторов. Заместитель заведующего отделом уже имеет закрепленную «Волгу», у заведующего «Волга» уже другая, получше, со спецсвязью.

А если уж ты забрался на вершину пирамиды партийной номенклатуры, тут все — коммунизм наступил! И оказывается, для него вовсе не надо мировой революции, высочайшей производительности труда и всеобщей гармонии. Он вполне может быть построен в отдельно взятой стране для отдельно взятых людей.

Про коммунизм — это я не утрирую, это не просто образ или преувеличение. Вспомним основной принцип светлого коммунистического будущего: «От каждого по способностям, каждому по потребностям». Тут все именно так. Про способности я уже говорил — их, к сожалению, не слишком много, зато потребности!.. Потребности так велики, что настоящий коммунизм пока удалось построить для двух десятков человек.

Коммунизм создает Девятое управление КГБ.

Всемогущее управление, которое может все. И жизнь партийного руководителя находится под его неусыпным оком, любая прихоть выполняется. Дача за зеленым забором на Москва-реке с большой территорией, с садом, спортивными и игровыми площадками, с охраной и сигнализацией. Даже на моем уровне кандидата в члены Политбюро — три повара, три официантки, горничная, садовник со своим штатом. Я, жена, вся семья, привыкшие все делать своими руками, не знали, куда себя деть, — здесь эта, так сказать, самодеятельность просто не допускалась. Удивительно, что эта роскошь не создавала удобства или комфорта. Какую теплоту внутри жилого помещения может создать мрамор?

С кем-то просто повстречаться, контактировать было почти невозможно. Если едешь в кино, театр, музей, в любое общественное место, туда сначала отправляется целый наряд, все проверяет, оцепляет, и только потом можешь появиться сам. А кинозал есть прямо на даче, каждую пятницу, субботу, воскресенье специально появляется киномеханик с набором фильмов.

Медицина — самая современная, все оборудование — импортное, по последнему слову науки и техники. Палаты — огромные апартаменты, и опять кругом роскошь: сервизы, хрусталь, ковры, люстры... А врачи, боясь ответственности, поодиночке ничего не решают. Обязательно собирается консилиум из пяти, десяти, а то и более высококвалифицированных специалистов. В Свердловске меня наблюдал один врач, Тамара Павловна Курушина, терапевт, знала меня досконально, в любой ситуации точно ставила диагноз, сама решала, как поступить, если появлялась головная боль, недомогание, простуда, слабость.

К этим безответственным консилиумам в Четвертом управлении я относился с большим подозрением. Когда я перешел в обычную районную поликлинику, у меня вообще перестала болеть голова, стал чувствовать себя гораздо лучше. Уже несколько месяцев не обращаюсь к врачам. Может быть, это совпадение, но очень символичное. А когда ты — в Политбюро, то закрепленный только за тобой врач обязан ежедневно осматривать тебя, но над ним, как дамоклов меч, висит отсутствие профессиональной, человеческой свободы.

«Кремлевский паек» оплачивался половиной его стоимости, а входили туда самые отборные продукты. Всего спецпайками разной категории в Москве пользовались сорок тысяч человек. Секции ГУМа специально предназначены для высшей элиты, а контингенту начальников чуть пониже — уже другие спецмагазины, — все по рангу. Всё спец — спецмастерские, спецбытовки, спецполиклиники, спецбольницы, спецдачи, спецдома, спецобслуга... Какое слово! Помните понятие «спец» — специалист, особо одаренный. Левша блоху подковал, другие тысячи и тысячи мастеровых, которые действительно были спецами. А теперь это слово — «спец» — имеет особый смысл, всем нам хорошо понятный. Тут самые отличные продукты, которые готовятся в спеццехах и проходят особую медицинскую проверку; лекарства, имеющие несколько упаковок и несколько подписей врачей, — только такое «проверенное» лекарство и может быть применено. Да мало ли таких «спец» в самых, казалось бы, незначительных мелочах, взлелеянных системой?!

Отпуск — и выбирай любое место на Юге, спецдача обязательно найдется. Остальное время дачи пустовали. Есть и другие возможности для отдыха, поскольку, кроме обычного летнего отпуска, существует еще один — зимний — две недели. Есть замечательные спортивные сооружения, но только для спецпользования, например, на Воробьевых горах — корты, закрытые и открытые, большой бассейн, сауна.

Поездки — персональным самолетом. Летит ИЛ-62 или ТУ-134 — в нем секретарь ЦК, кандидат в члены или член Полютбюро. Один. Рядом лишь несколько человек охраны и обслуживающий персонал.

Тут забавно то, что ничего им самим не принадлежит. Все самое замечательное, самое лучшее — дачи, пайки, отгороженное от всех море — принадлежит системе. И она как дала, так и отнять может. Идея по сути своей гениальная. Существует некий человек — Иванов или Петров, растет по служебной лестнице, и система выдает ему сначала один уровень спецблаг, поднялся выше — уже другой, и чем выше он растет, тем больше специальных радостей жизни падает на него. И вот Иванов проникается мыслью, что он лицо значительное. Ест то, о чем другие только мечтают, отдыхает там, где остальных и к забору не подпускают. И не понимает глупый Иванов, что не его это так облагодетельствовали, а место, которое он занимает. И если он вдруг не будет верой и правдой служить системе, сражаться за нее, на месте Иванова появится Петров или кто угодно другой. Ничто человеку в этой системе не принадлежит. Сталин умудрился отточить этот механизм до такого совершенства, что даже жены его соратников не принадлежали им самим, они тоже принадлежали системе. И система могла отобрать жен, как отобрала у Калинина, Молотова, а они даже пикнуть не посмели.

Нынче, конечно, времена переменились, но суть осталась. Так же некий широкий ассортимент благ выдается месту, которое кто-то занимает, но на каждом «благе», начиная от мягкого кресла с жестким номерным знаком и кончая дефицитным лекарством со штам-пиком 4-го Управления, печать системы. Чтобы человек, который по-прежнему винтик, не забывал, кому на самом деле все это принадлежит.

Но я продолжу свой рассказ о льготах. При каждом из секретарей ЦК, члене или кандидате в члены Политбюро существует старший группы охраны, он же порученец, организатор. Моего старшего, внимательного человека, звали Юрий Федорович. Одна из основных его обязаностей как раз и заключается в том, чтобы организовать выполнение любых просьб своего... чуть было не сказал — барина, — своего подопечного.

Надо новый костюм справить, пожалуйста: ровно в назначенное время в кабинете тихонечко раздастся стук, портной в комнатке обмерит тебя сантиметром, на следующий день заглянет на примерку, и, извольте, — прекрасный костюмчик готов.

Есть необходимость в подарке для жены на 8-е Марта. Тоже проблем нет: принесут каталог с целым набором вариантов, который удовлетворит любой, даже самый изощренный женский вкус, — выбирай! Вообще к семьям отношение уважительное. Отвезти жену на работу, с работы, детей на дачу, с дачи — для этих целей служит закрепленная «Волга» с водителями, работающими посменно, и с престижными номерами. «ЗИЛ», само собой, принадлежит отцу семейства.

Забавно, что вся эта циничная по сути своей система вдруг дает циничный сбой по отношению к родным главы семейного клана. Например, когда охрана проводила инструктаж с женой и детьми, было потребовано, чтобы они не давали мне овощи и фрукты с рынка, поскольку продукты могут быть отравлены. И когда дочь робко спросила, можно ли есть им, ей ответили: вам можно, а ему нельзя. То есть вы — травитесь, а он — святое...

Москвичи обычно останавливаются, когда по улицам города, шурша шинами, на большой скорости проносятся правительственные «ЗИЛы». Останавливаются не из большого почтения к сидящим в машине, а потому, что зрелище это действительно впечатляющее. «ЗИЛ» не успел еще выехать за ворота, а уже по всему маршруту следования оповещаются посты ГАИ. Всюду дается зеленый свет, машина мчится без остановок, быстро, красиво. Высокие партийные руководители забыли, что существуют такие понятия, как «пробка», светофор и красный свет.

Членов Политбюро по всему пути еще ведет и машина сопровождения, «Волга». Когда в мой адрес поступило несколько предупреждений с угрозами, мне тоже выделили такую «Волгу». Я потребовал, чтобы ее убрали, но получил ответ, что вопросы моей безопасности — не моя компетенция. Так что некоторое время убить меня стало совсем невозможно. Кругом была охрана. К счастью, вскоре дополнительную охрану сняли.

«ЗИЛ» рядом со мной круглосуточно. Где бы я ни находился, машина со спецсвязью всегда здесь же. Если приехал ночевать на дачу, водитель располагается в специальном доме, чтобы в любой момент можно было выехать.

Про дачу — отдельный рассказ.

Когда я подъехал к ней в первый раз, у входа меня встретил старший караула, познакомил с обслугой — поварами, горничными, охраной, садовником и т. д. Затем начался обход. Уже наружный вид дачи убивал своими огромными размерами. Вошли в дом — холл, метров пятьдесят, с камином, — мрамор, паркет, ковры, люстры, роскошная мебель. Идем дальше. Одна комната, вторая, третья, четвертая, в каждой — цветной телевизор, здесь же на первом этаже огромная веранда со стеклянным потолком, кинозал с бильярдом, в количестве туалетов и ванн я запутался, обеденный зал с немыслимым столом метров десять длиной, за ним кухня, целый комбинат питания с подземным холодильником. Поднялись на второй этаж по ступенькам широкой лестницы. Опять огромный холл с камином, из него выход в солярий — стоят шезлонги, кресла-качалки. Дальше кабинет, спальня, еще две комнаты непонятно для чего, опять туалеты, ванные. И всюду хрусталь, старинные и модерновые люстры, ковры, дубовый паркет и все такое прочее.

Когда мы закончили обход, старший охраны радостно спросил: «Ну как?» Я что-то невнятное промычал. Семья же была просто ошарашена и подавлена.

Больше всего поражает бессмысленность всего этого. Я сейчас даже не говорю о социальной справедливо-ти, расслоении общества, огромной разнице в уровнях жизни. Это само собой понятно. Но вот так-то зачем? Почему понадобилось так абсурдно реализовывать мечту об удовольствии и собственном партийно-номенклатурном величии? Такое количество комнат, туалетов и телевизоров одновременно не нужно никому, даже самому выдающемуся деятелю современности.

А кто платит за все это? Платит Девятое управление КГБ. Интересно, кстати, по какой статье списываются эти расходы? Борьба со шпионами? Подкуп иностранных граждан? Или по более романтической статье, например, космическая разведка?..

Для проведения отпуска также был богатый выбор: Пицунда, Гагры, Крым, Валдай, другие места. Старшему охраны выдавали, если не ошибаюсь, что-то около четырех тысяч рублей — это, так сказать, на карманные расходы. То есть зарплату на отпуск можно было не тратить. На этих летних дачах все те же богатства и роскошь. К морю подвозят на машине, хотя от дачи до него метров двести, не больше. Я, конечно, шагал сам, вообще пытался как-то встряхнуться, организовал волейбольные команды: мы с дочерью, моим помощником и водителем играли против охраны, они ребята молодые, мощные, здоровые, а мы все равно часто выигрывали. Короче, хоть как-то я пытался в этот коммунистический

дистиллированный оазис внести нечто человеческое, бурное и азартное. Надо честно признать, удавалось мне это с большим трудом.

Может быть, я выскажу не бесспорное мнение, но думаю, перестройка не застопорилась бы даже при всех тех ошибках в тактике, которые были совершены, если бы Горбачев лично смог переломить себя в вопросах спецблаг. Если бы сам отказался от совершенно ненужных, но привычных и приятных привилегий. Если бы не стал строить для себя дом на Ленинских горах, новую дачу под Москвой, перестраивать еще одну дачу в Пицунде, а затем возводить новую суперсовременную под Форосом. И в конце концов с пафосом говорить на съезде народных депутатов, что у него вообще нет личной дачи. Как же лицемерно это звучало, неужели он сам этого не понимал? Все могло бы пойти иначе, ибо не была бы утеряна вера людей в провозглашенные лозунги и призывы. Без веры невозможны никакие самые светлые, самые чистые преобразования. А когда люди знают о вопиющем социальном неравенстве и видят, что лидер ничего не делает, чтобы прекратить эту бесстыдную экспроприацию благ высшей партийной верхушкой, испаряются последние капельки веры.

Почему Горбачев не смог этого сделать? Мне кажется, тому виной его внутренние качества. Он любит жить красиво, роскошно, комфортно. Ему помогает в этом отношении его супруга. Она, к сожалению, не замечает, как внимательно и придирчиво следят за ней миллионы советских людей, особенно женщины. Ей хочется быть на виду, играть заметную роль в жизни страны. Наверняка, в сытом, богатом, довольном обществе это было бы воспринято нормально и естественно, но только не у нас, по крайней мере не сейчас. Это тоже ошибка Горбачева, он не чувствует реакции людей.

Да, впрочем, как он может ее чувствовать, если прямой и обратной связи с народом у него нет. Его встречи с трудящимися — маскарад, да и только: несколько человек стоят, разговаривают с Горбачевым, а вокруг целая цепь охраны. А людей этих, проверенных, изображающих народ, на специальных автобусах подвозили... И всегда это — монолог. Ему что-то говорят, а что, он не слышит и слышать не хочет, говорит что-то свое... Да, картина невеселая.

А «ЗИЛ» для жены? А инициатива Горбачева поднять заработную плату составу Политбюро? Люди все это как-то узнают, скрыть ничего невозможно. У меня дочери на работе дают по куску мыла в м,есяц, хватает с трудом. Когда жена по два, по три часа в день ходит по магазинам и не может купить самого элементарного, чтобы накормить семью, даже она — спокойная, уравновешенная — начинает нервничать, переживать, расстраиваться.

Конечно, никуда наша номенклатура не денется, придется ей и отдавать свои дачи, и отвечать перед людьми за то, что цеплялись руками, ногами и зубами за свои блага. Да и сейчас уже начинают они платить по счетам за свое номенклатурное величие: провалы партийных и советских функционеров на выборах — это как раз первый звоночек. Они вынуждены уже сейчас делать шаги навстречу требованиям трудящихся. Но уступки делаются с таким трудом, с таким скрипом; от благ так не хочется отказываться, что в ход идут любые ухищрения, вплоть до прямого обмана, лишь бы процесс этот притормозить.

Заявил недавно Н. И. Рыжков, что прекращается выдача продовольственных пайков, специальный магазин на улице Грановского закрыт. Действительно закрыт, но пайки как выдавались, так и выдаются, только теперь их рассредоточили по столам заказов. Все осталось по-прежнему. Несут водители партийных и советских руководителей, министров, академиков, главных редакторов газет, прочих больших начальников авоськи, нагруженные деликатесами, складывают в багажники черных автомобилей и увозят в дома к своим шефам.

Я пишу эти строки, не зная результатов работы комиссии по незаслуженным привилегиям и льготам. Не знаю, что решит Второй съезд народных депутатов, рассматривая эти вопросы. Но, думаю, больше такого бесстыдства не будет. Мы уйдем, и, надеюсь, навсегда, от кастово-номенклатурного способа распределения благ к цивилизованному, где единственным мерилом всех материальных ценностей будет заработанный рубль. Очень надеюсь на это.

Когда за спиной про меня говорят, что отказался от всех привилегий — дач, пайков, спецполиклиники и прочего — ради популярности, чтобы подыграть чувствам толпы, жаждущей уравниловки и требующей, чтобы все жили одинаково плохо, я на эти слова не обращаю внимания и не обижаюсь. Понятно, кто их говорит и почему. Но есть люди совсем другие — мои друзья, союзники, те, кто хорошо ко мне откосится, — они тоже иногда, особенно, когда возникает конкретная ситуация, говорят, например: зачем вам понадобилось отказываться от 4-го Управления? Где теперь лекарства доставать (а я в этот момент как раз простудился), ничего же кет, ни антибиотиков, ни простого анальгина, ни аскорбинки?!

Или вот совсем свежая ситуация. Летом, когда шла сессия, я писал эту книгу урывками: ночью,

придя с заседания, по воскресеньям — в общем, времени для нормальной, полноценной работы не хватало. В августе были объявлены каникулы для депутатов, и я решил вплотную заняться рукописью. В кабинете это, естественно, сделать невозможно — миллион проблем, дома — тоже, от звонков ке уйти, и я решил на пару недель снять дачу под Москвой, там уж меня никто не найдет. И тут выясняется, что в августе снять дачу нельзя, это можно сделать только ранней весной. Начинаются судорожные поиски уже не дачи, а любого маленького домика, где можно уединиться. Каникулы короткие, дорог каждый час. Тогда я много наслушался упреков — вот вы со своей социальной справедливостью и ПОЛУЧИЛИ по заслугам, нельзя было от государственной дачи отказываться, работать-то ведь негде, книжку бы написали, потом и отказывались сколько угодно... В конце концов домик мы все-таки нашли. Главное достоинство, что очень далеко от Москвы, около двухсот километров. Природа, конечно, замечательная — птицы, лес, грибы. А что касается всех остальных удобств, — они на улице. Вот в таких естественных, живых условиях рождается эта книга.

Но, впрочем, я отвлекся. Итак, разговор о привилегиях. Конечно, хочется есть вкусную, здоровую пищу, хочется, чтобы врачи к тебе были ласковы и внимательны, хочется отдыхать на прекрасных пляжах и так далее. И вполне естественно, отказавшись от всего этого, моя семья тут же столкнулась с множеством проблем, точно таких же, какие возникают в миллионах советских семей.

Вообще жить, как живет весь цивилизованный мир, очень хочется. И поэтому никогда не пойму Горбачева, который, я уже писал об этом, на съезде гордо произнес, что у него нет личной дачи. Чем здесь гордиться, чему радоваться? Плохо, что нет. Должна быть у Генерального секретаря личная дача, построенная на деньги, заработанные личным трудом, как у рабочего, писателя, инженера, учителя... Но лично-государственная — это для него лучше.

А пока этого нет, пока мы живем так бедно и убого, я не могу есть осетрину и заедать ее черной икрой, не могу мчаться на машине, минуя светофоры и шарахающиеся автомобили, не могу глотать импортные суперлекарства, зная, что у соседки нет аспирина для ребенка.

Потому что стыдно.

В связи с этим возникают мысли о нашей стране, о выбранном пути, о причинах низкого уровня жизни, вечного дефицита во всем, о духовности, нравственности, о будущем.

Многих людей волнует вопрос — куда мы идем? Тот ли мы строим дом, который нам нужен и в котором можно если не благоденствовать, то хотя бы сносно существовать? Общество сейчас изо всех сил старается перетряхнуть старые представления и найти единственно верное направление. Поблуждали-то мы уже вдоволь. Но проходы загромождены ложью, всякой догматической рухлядью, и всем нам придется хорошенько поработать, чтобы не потеряться в завалах прошлого.

Если верить учебникам, то социализм мы построили давным-давно, но затем мы его почему-то стали достраивать и наконец построили «окончательно и бесповоротно». Но идеологам показалось и этого недостаточно; тогда они не без помощи Л. И. Брежнева провозгласили «развитой социализм». Теперь они ломают голову над тем, как бы обозвать следующий этап. Ведь какая-то формулировка должна же быть. Без этого мы просто не можем. У нас существует, по подсчетам наших теоретиков, если не ошибаюсь, двадцать шесть видов советского образа жизни. Очевидно, скоро будет столько же разновидностей социализма.

Если непредвзято сопоставить теорию и практику социализма, то станет ясно: из основных его классических составных частей в жизнь воплощена только одна — обобществление собственности, и то это сделано топорно. Остальных же элементов социализма реально или нет вообще, или они заретушированы до такой степени, что их просто не разглядеть.

Чтобы представлять, куда идем, важно знать, откуда идем? В двадцатых годах Сталин «отрубил» демократический путь и стал насаждать государственно-авторитарный, административно-бюрократический социализм. Демократия была задушена в зародыше, а безгласное общество ничего, кроме карикатуры на самое себя, создать не может. Безгласные люди никогда не смогут договориться между собой. Было очень много устрашающих жестов и полное отсутствие при этом социально-политического диалога между партией и народом. Началось насаждение политического диктата и террора.

Иные перспективы сулил путь демократизации общества, в котором царили бы личный интерес, личная заинтересованность и личная ответственность. Да прибавить бы еще к тому истинный, а не показной хозяйственный расчет. Но увы, этого не случилось: дальнейшая экономическая политика строилась исключительно на основе «общественного интереса». Под его «крышу» подводились все негодные методы хозяйствования, которыми великолепно манипулировали комбюрократы, понимая под словами «общественный интерес» свои личные корыстные цели. Но отнюдь не интересы рабочего,

крестьянина.

Сегодня много пишут про обновление нашего социализма. Но это, мягко говоря, плохая защита социализма, ибо можно обновлять то, что уже существует во времени и пространстве. Конечно, если дом построен, его можно как угодно обновлять, достраивать, расширять, реконструировать и т. д. А если его еще нет и в помине? Мое мнение таково: мы социализм только еще строим. Нужна честная, поистине научная теория, которая могла бы обобщить и учесть без спекулятивности семидесятилетний опыт нашего бытия.

Догматические представления о социализме не исчезают мгновенно. Еще долгое время они поддерживаются инерцией прошлых лет.

Длительная абсолютизация роли экономических факторов развития (в ущерб социально-политическим) сказалась и на общей стратегии перестройки. Экономическая реформа вовремя не была дополнена синхронной (а лучше бы опережающей) перестройкой политической структуры.

Следовало начинать перестройку с партии, ее аппарата. Необходимо было четко определить место партии в обществе и ее главные «направляющие удары». Получилось, что какое-то время мы перестраивали экономику, находясь в плену догм и традиций, пришедших из прошлого, из мертвых концепций, не имея комплексного пакета законов о собственности, о земле, кооперации, аренде, налоговой системе, новой системе ценообразования.

Сегодня, ускоряя политическую реформу, мы пытаемся наверстать упущенное. Даже то немногое, что сделано, привело к заметной политизации общественного сознания. В политику активно включается народ.

Народная политика, начавшись с народной дипломатии, расширила сегодня арсенал своих средств, форм и методов. Общественная жизнь была буквально взбудоражена забастовками и созданием забастовочных комитетов. Развивается народная пресса в виде изданий самодеятельных организаций: «неформалов», фондов, инициативных групп и т. п. В ряде республик и регионов сформировались и действуют народные фронты, зачастую их считают чуть ли не новой политической партией в обществе. Я — за создание народных фронтов, но при условии, что их программа и действия не противоречат общечеловеческим ценностям. В Прибалтике народные фронты поставили вопросы, от решения которых партия уходила. Имею в виду национальные проблемы.

Перестройка всколыхнула людей, разбудила их созидательную энергию, позвала к социальному творчеству. Важно, чтобы найденные формы народной политики заняли достойное место в обществе. Они должны консолидировать всех, кто обеспокоен судьбами страны, кто стремится к истинно демократическому устройству. Устранение из борьбы за перестройку инакомыслящих ослабит формы народного движения. За инакомыслие надо платить людям тринадцатую зарплату, иначе наше безвольное единодушие доведет нас до еще более безнадежного застоя. И особенно следует поощрять разномыслие в момент критического положения — тут каждое новое слово, каждая новая мысль — дороже золота. И вообще, разве можно отказать человеку в праве на свою мысль?!

13 марта 1989 года.

Только что состоялись теледебаты. Мы учимся у цивилизованных стран традициям современных выборов, вот и у нас появилась даже такая штука, как теледебаты.

Непросто все это. Камера сковывает, заставляет держаться не совсем естественно. А еще ведь знаешь, что это прямой эфир.

Ну, и плюс ко всему прочему, это была моя первая встреча с москвичами по телевидению после того, как меня сняли с поста первого секретаря Московского городского комитета партии. Это тоже лежало грузом на плечах. Хотелось, чтобы люди увидели, что я в нормальной форме и, в общем, смог вполне достойно пережить то, что происходило со мной последние полтора года.

Ну, а если совсем серьезно к выборам подходить, то умению держать себя перед телекамерой надо учиться. Это особая форма контакта с избирателями, она никакого отношения к традиционным встречам с избирателями не имеет. Там жизнь, дыхание зала, реакция на каждое слово, жест, ты чувствуешь все это, энергия людей передается тебе, от тебя — людям... А здесь на тебя смотрит холодный стеклянный глаз телекамеры, в нем отражается только свет и ты сам, и как-то нужно представлять за всем этим реальных людей, сидящих дома, пьющих чай, слушающих внимательно и вполуха...

Но, впрочем, это теория. А на самом деле все происходило так. Мы приехали в Останкино за полчаса

до начала передачи. Посидели, поговорили с ведущим, как пойдет передача. Он в двух словах сообщил о характере телефонных звонков в телестудию. А по условиям теледебатов каждый кандидат должен ответить на несколько вопросов москвичей. Вопросы должен был отбирать ведущий.

Начался прямой эфир. Со своей программой выступил Ю. Браков, затем десять минут были даны мне. Еще раз повторюсь, держался и говорил скованнее, чем обычно. Но тем не менее за десять минут изложил телезрителям свою предвыборную программу.

Конечно, не очень приятно, когда кого-то в чем-то подозреваешь, но подбор вопросов, надо честно сказать, поражал. Бракову задавались спокойные, обычные, большей частью сугубо производственные вопросы: про ЗИЛ, про будущее завода, ну и так далее. Мне же опять приходилось отбиваться от нападок. Я внутренне заводился, но, может быть, это и на пользу пошло, стал говорить более эмоционально и напористо.

Понятно, что ведущий с целью обострения позиций может отбирать вопросы на свой взгляд. Но почему-то он умудрился зачитать мне записки от людей, которых (как потом проверили журналисты) вообще в столице не существует, или они существуют, но вопросов никаких не задавали. Ну, вот только один пример. Ведущий читает: «Почему вы, Борис Николаевич, все время работаете на публику? Даже ваши рядовые посещения поликлиник» сопровождаются журналистами, кинохроникой?..» Вопрос задал такой-то, по такому-то адресу проживающий.

И действительно, в это утро я становился на учет в районную поликлинику, куда прикрепился, уйдя из 4-го Управления. Кстати говоря, помню, когда регистратор, такая пожилая женщина, записывала мои данные — адрес, возраст, место работы и т. д. — и на ее вопрос о должности я ответил — министр, она даже ручку чуть не выронила. А потом произнесла: «Первый раз в жизни живой министр в «районке» регистрируется...» Ну так вот, только я вышел из дома, а у подъезда уже караулит съемочная группа. Тележурналисты сняли, как я вошел в поликлинику, как вышел оттуда, ну и все. Самое интересное, что происходило это в восемь часов утра, до поликлиники идти минут пять, в общем, надо было специально следить за каждым моим шагом, чтобы успеть заметить, как в это утро кто-то снял мой рядовой поход в поликлинику.

На теледебатах я ответил таким образом, что мне самому уже смертельно надоели журналисты, фотокорреспонденты, кино- и телеоператоры, которые не дают мне проходу. Но, видимо, это их надо спросить, почему они все время рядом со мной. Наверное, то, что они меня так долго не могли снимать, долго не было информации, и вызывает ненужный ажиотаж...

Но это еще не все. На следующий день как раз та самая телегруппа, чувствуя, что, не желая того, подвела меня, поехала по тому адресу, который был указан, отыскала человека, проживающего по нему, и... Все правильно: никому он не звонил, ни о чем не спрашивал и вообще понятия не имеет ни о какой поликлинике. В конце он только попросил передать: пусть Борис Николаевич не беспокоится, я буду голосовать за него. Ребята сняли все это на видеокассету и подарили мне.

Мои доверенные лица таким же образом проверили часть адресов, картина была в основном одинаковая — либо люди с такими фамилиями не проживают, а если проживают, то никаких вопросов не задавали.

Вот в таких забавных теледебатах я участвовал.

Из сотен записок на эту закрытую раньше тему трудно выбрать 2 — 3 вопроса...

Октябрьский (1987 г.) Пленум ЦК КПСС, о котором потом было столько разговоров, засекреченный, таинственный... Пленум, на котором я все-таки взял слово и выступил.

Потом часто сам себя спрашивал: а был ли возможен другой вариант? Насколько жесткой была необходимость резко рвать, идти на конфликт, на скандал, на такие катастрофические изменения в собственной жизни? А в том, что у меня существует реальный шанс не выдержать предстоящую экзекуцию, я отдавал себе отчет. Итак, зачем мне это было надо?

По прошествии почти двух лет я могу совершенно определенно сказать: да, то мое выступление было необходимо, оно как бы закладывалось всей логикой последних событий. Все купались в восторгах и эйфории от перестройки и при этом не хотели видеть, что конкретных результатов нет, кроме некоторых сдвигов в вопросах гласности и демократизации. Вместо реального и критического анализа складывающейся ситуации, на Политбюро все громче и отчетливее звучали славословия в адрес Генерального секретаря. Мой конфликт с Лигачевым дошел также до своего логического предела. Для того, чтобы решать в Москве самые наболевшие вопросы, нужна была помощь всего Политбюро:

столица — такой сложный конгломерат, в ней все так завязано и переплетено, что без общих усилий дело бы не сдвинулось. Но последнее время, повторяю, я все отчетливее ощущал активное нежелание помочь городу в решении назревших проблем.

Можно ли было в таких условиях работать дальше?

Можно, но только для этого надо было стать другим — прекратить высказывать свою точку зрения, не замечать, как страна скатывается в пропасть, но при этом гордо восклицать, что партия, как и ее Генсек, — организатор, вдохновитель и, что там еще, — архитектор перестройки.

Кто бы знал, как меня выводят из себя эти лицемерные лозунги! Сначала партийно-бюрократический аппарат, прикрываясь партией, развалил страну, а теперь, когда уже деваться некуда, приходится в прогнившей системе что-то менять, они кричат — не трожь партию, она архитектор перестройки. Как же ее не трогать, если еще с детского сада всем известно, что все свои достижения мы должны связывать с ее именем?! Да и вообще, вдохновляющая и организующая ее роль записана в 6-й статье Конституции СССР. Так кто же виноват в том, что творится? Новая историческая общность — советский народ? Или все-таки тот, кто семьдесят лет организовывал и вдохновлял? Каждый день со всех сторон слышится заклинание партийных аппаратчиков: «Авторитет партии незыблем! Не позволим прикасаться к партии вашим грязным рукам!..»

За два года после октябрьского Пленума ЦК общество прошло огромный путь, люди осознали свою роль — не винтиков, а личностей, началось народное наступление на партийных бюрократов, и те вынуждены судорожно и испуганно защищать свое более чем шаткое положение. А тогда, когда я понял, что надо выступать, в те времена позволялось критиковать лишь то, что не задевало основ и конкретных высоких фамилий. Генеральный секретарь — это был все равно что царь-батюшка, выражать хоть какие-то сомнения по поводу его действий было немыслимым партийным святотатством. Генсеком можно было только восхищаться, радоваться, что выпало счастье вместе с ним работать, трудиться, разрешалось слегка переживать, что он такой скромный и не позволяет себя хвалить, ну, и так далее...

Когда я шел на трибуну, конечно же не думал, что мое выступление станет каким-то шагом вперед, поднимет планку гласности, сузит зону вне критики и так далее... Нет, об этих вещах не думал. Важно было собрать волю в кулак и сказать то, что не сказать не могу.

Я уже рассказывал, у *меня* не было написанного выступления, на маленьком листочке бумаги подготовил тезисы.

И поэтому сейчас свое выступление цитирую по журналу «Известия ЦК КПСС».

«Ельцин. Доклады, и сегодняшний, и на семидесятилетие, проекты докладов обсуждались на Политбюро, и с учетом того, что я тоже вносил свои предложения, часть из них учтена, поэтому у меня нет сегодня замечаний по докладу, и я его полностью поддерживаю.

Тем не менее я хотел бы высказать ряд вопросов, которые у меня лично накопились за время работы в составе Политбюро.

Полностью соглашаюсь с тем, что сейчас очень большие трудности в перестройке и на каждого из нас ложится большая ответственность и большая обязанность.

Я бы считал, что прежде всего нужно было бы перестраивать работу именно партийных комитетов, партии в целом, начиная с Секретариата ЦК, о чем было сказано на июньском Пленуме Центрального Комитета партии.

Я должен сказать, что после этого, хотя и прошло пять месяцев, ничего не изменилось с точки зрения стиля работы Секретариата ЦК, стиля работы товарища Лигачева.

То, что сегодня здесь говорилось, — Михаил Сергеевич говорил, что недопустимы различного рода разносы, накачки на всех уровнях, это касается хозяйственных органов, любых других, — допускается именно на этом уровне, это в то время, когда партия сейчас должна как раз взять именно революционный путь и действовать по-революционному. Такого революционного духа, такого революционного напора, я бы сказал, партийного товарищества по отношению к партийным комитетам на местах, ко многим товарищам не чувствуется. Мне бы казалось, что надо так: делай уроки из прошлого, действительно сегодня заглядывай в те белые пятна истории, о которых говорил Михаил Сергеевич. Надо прежде всего делать нам выводы на сегодняшний день. Надо прежде всего делать выводы в завтрашнее. Что же нам делать? Как исправлять, как не допускать то, что было? А ведь тогда просто дискредитировались ленинские нормы нашей жизни, и это привело к тому, что они потом, впоследствии, ленинские нормы, были просто в большей степени исключены из норм поведения жизни нашей партии.

Я думаю, что то, что было сказано на съезде в отношении перестройки за 2 — 3 года — 2 года

прошло или почти проходит, сейчас снова указывается на то, что опять 2 — 3 года, — это очень дезориентирует людей, дезориентирует партию, дезориентирует все массы, поскольку мы, зная настроения людей, сейчас чувствуем волнообразный характер отношения к перестройке. Сначала был сильнейший энтузиазм — подъем. И он все время шел на высоком накале и высоком подъеме, включая январский Пленум ЦК КПСС. Затем, после июньского Пленума ЦК, стала вера как-то падать у людей, и это нас очень и очень беспокоит. Конечно, в том дело, что два эти года были затрачены на резра-ботку в основном всех этих документов, которые не дошли до людей, конечно, и обеспокоили, что они реально ничего за это время и не получили.

Поэтому мне бы казалось, что надо на этот раз подойти, может быть, более осторожно к срокам провозглашения и реальных итогов перестройки в следующие два года. Она нам дастся очень и очень, конечно, тяжело, мы это понимаем, и даже если сейчас очень сильно — а это необходимо — революционизировать действия партии, именно партии, партийных комитетов, то это все равно не два года. И мы через два года перед людьми можем оказаться, ну я бы сказал, с пониженным авторитетом партии в целом.

Я должен сказать, что призыв все время принимать поменьше документов и при этом принимать их постоянно больше, — он начинает уже просто вызывать и на местах некоторое отношение к этим постановлениям, я бы сказал, просто поверхностное, что ли, и какое-то неверие в эти постановления. Они идут одно за другим. Мы призываем друг друга уменьшать институты, которые бездельничают, но я должен сказать на примере Москвы, что год тому назад был 1041 институт, после того, как благодаря огромным усилиям с Госкомитетом ликвидировали 7, их стало не 1041, а 1087. За это время были приняты постановления по созданию институтов в Москве. Это, конечно, противоречит и линии партии, и решениям съезда, и тем призывам, которые у нас есть.

Я думаю еще об одном вопросе. Он не простой, но здесь Пленум, члены Центрального Комитета партии, самый доверительный и самый откровенный состав, перед кем и можно, и нужно сказать все то, что есть на душе, то, что есть и в сердце, и как у коммуниста.

Я должен сказать, что уроки, которые прошли за 70 лет, — тяжелые уроки. Были победы, о чем было сказано Михаилом Сергеевичем, но были и уроки. Уроки тяжелых, тяжелых поражений. Поражения эти складывались постепенно, они складывались благодаря тому, что не было коллегиальности, благодаря тому, что были группы, благодаря тому, что была власть партийная отдана в одни-единственные руки, благодаря тому, что он, один человек, был огражден абсолютно от всякой критики.

Меня, например, очень тревожит — у нас нет еще в составе Политбюро такой обстановки, а в последнее время обозначился определенный рост, я бы сказал, славословия от некоторых членов Политбюро, от некоторых постоянных членов Политбюро в адрес Генерального секретаря. Считаю, что как раз вот сейчас это просто недопустимо. Именно сейчас, когда закладываются самые демократические формы отношения принципиальности друг к другу, товарищеского отношения и товарищества друг к другу. Это недопустимо. Высказать критику в лицо, глаза в глаза, это — да, это нужно. А не увлекаться славословием, что постепенно, постепенно опять может стать «нормой». Мы этого допустить просто не можем. Нельзя этого допустить.

Я понимаю, что сейчас это не приводит к каким-то определенным уже, недопустимым, так сказать, перекосам, но тем не менее первые какие-то штришки вот такого отношения есть, и мне бы казалось, что, конечно, это надо в дальнейшем предотвратить.

И последнее. *(Пауза.)*

Видимо, у меня не получается в работе в составе Политбюро. По разным причинам. Видимо, и опыт, и другое, может быть, и отсутствие некоторой поддержки со стороны, особенно товарища Лигачева, я бы подчеркнул, привели меня к мысли, что я перед вами должен поставить вопрос об освобождении меня от должности, обязанностей кандидата в члены Политбюро. Соответствующее заявление я передал, а как будет в отношении первого секретаря городского комитета партии, это будет решать уже, видимо, пленум городского комитета партии».

Сказав все это, я сел. Сердце мое гремело, готово было вырваться из груди. Что будет дальше, я знал. Будет избиение, методичное, планомерное, почти с удовольствием и наслаждением.

Даже сейчас, уже столько времени прошло, а ржавый гвоздь в сердце сидит, я его не вытащил. Он торчит и кровоточит. Тут мне, наверное, даже самому себя сложно понять. Неужто я ждал другой реакции от нынешнего, в большинстве своем консервативного состава ЦК? Конечно, нет. Будущий сценарий был предельно ясен. Он готовился заранее, и, как я сейчас понял, независимо от моего выступления. Горбачев, так сказать, задаст тон, затем ринутся на трибуну обличители и станут обвинять меня в расколе, в амбициях, в политических интригах и т. д. Ярлыков будет так много, что хватит на

целую оппозиционную партию. Жаждущих засвидетельствовать свое рвение в моральном уничтожении «заблудившегося коллеги по партии» окажется даже слишком много, и выступающих придется сдерживать.

Так все и случилось. Здесь я еще раз процитирую стенограмму Пленума.

«Горбачев. Наверное, далее мне удобнее вести заседание.

Л и га ч е в. Да, пожалуйста, Михаил Сергеевич.

Горбачев. Товарищи, я думаю, серьезное у товарища Ельцина выступление. Не хотелось бы начинать прения, но придется сказанное обсудить.

Хочу повторить основные моменты заявления. Первое. Товарищ Ельцин сказал, что надо серьезно активизировать деятельность партии и начинать это следует с Центрального Комитета КПСС, конкретно с Секретариата ЦК. Замечания в этой связи были высказаны Егору Кузьмичу Лигачеву.

Второе. Ставится вопрос о темпах перестройки. Утверждается, что назывались сроки перестройки два-три года. Отмечается, что такие сроки ошибочны, это дезориентирует людей, ведет еще больше к сумятице в обществе, в партии. Положение чревато такими последствиями, которые могут погубить дело.

Третье. Уроки мы извлекаем из прошлого, но, видимо, с точки зрения товарища Ельцина, не до конца, поскольку не созданы механизмы в партии, на уровне ЦК и Политбюро, которые бы исключали повторение серьезных ошибок.

И, наконец, о возможности продолжить работу в прежнем качестве. Товарищ Ельцин считает, что дальше он не может работать в составе Политбюро, хотя, по его мнению, вопрос о работе первым секретарем горкома партии решит уже не ЦК, а городской комитет.

Что-то тут у нас получается новое. Может, речь идет об отделении Московской парторганизации? Или товарищ Ельцин решил на Пленуме поставить вопрос о своем выходе из состава Политбюро, а первым секретарем МГК КПСС решил остаться? Получается вроде желание побороться с ЦК. Я так понимаю, хотя, может, и обостряю».

Я все-таки не могу удержаться и не прервать цитирование Михаила Сергеевича. Смотрите, как ловко, как замечательно он передернул. Вот уже, оказывается, я хочу возглавить борьбу Московского горкома партии против ЦК. Политическое дело пришито, настрой, так сказать, и тональность нужная дана. Я, естественно, там, на Пленуме, вскакиваю, протестую, но это уже роли никакой не играет.

«Садись, садись, Борис Николаевич. Вопрос об уходе с должности первого секретаря горкома ты не поставил: сказал — это дело горкома партии.

Вот, собственно, все, кроме твоего возражения, будто я неправильно тебя понял, что ты ставишь вопрос и перед ЦК о своей работе в качестве секретаря горкома партии.

Правильно я интерпретировал в сумме твои высказывания, товарищ Ельцин?

Давайте обменяемся мнениями, товарищи. Вопросы, думается, поставлены принципиальные.

Это как раз тот случай, когда, идя к 70-летию Великого Октября, и этот урок надо извлечь для себя, для ЦК и для товарища Ельцина. В общем, для всех нас.

В этом вопросе надо разобраться.

Пожалуйста, товарищи. Кто хочет взять слово?

Члены ЦК знают о деятельности Политбюро, политику оценивают, вам видней, как тут быть. Я приглашаю вас к выступлениям, но не настаиваю. Если из членов Политбюро кто-то хочет взять слово, то я, естественно, предоставлю. Пожалуйста.

Товарищи, кто хочет выступить, поднимите руку».

Ну, а дальше все пошло, как и ожидалось. Но одно дело, когда я теоретически выстраивал все это в голове, размышляя о том, какие доводы будут приводиться в ответ на мои тезисы, кто выступит. Казалось, что выйдут не самого крупного калибра и не близкие люди... А вот когда все началось на самом деле, когда на трибуну с блеском в глазах взбегали те, с кем вроде бы долго рядом работал, кто был мне близок, с кем у меня были хорошие отношения, — это предательство вынести оказалось страшно тяжело. Я уверен, сейчас этим людям стыдно читать ту брань в мой адрес, которую они говорили. Но слово сказано, и от этого никуда не уйти.

Одно выступление за другим — во многом демагогичные, не по существу, бьющие примерно в одну и ту же точку: такой-сякой Ельцин. Слова повторялись, эпитеты повторялись, ярлыки повторялись. Как я выдержал, трудно сказать.

Выступает Рябов, с которым столько в Свердловске вместе работали. Зачем? Чтобы себе какую-то тропинку проложить вверх, если не к будущему, то хотя бы к своей пенсии? И он тоже начал обливать... Это было совсем тяжело. Первый секретарь Пермского обкома — Коноплев, Тюменского — Богомяков,

и другие... Уж вроде работали рядом, уж, кажется, пуд соли вместе съели — но каждый, каждый думал о себе, каждый считал, что на этом деле можно какие-то очки себе заработать. Из членов Политбюро для меня неожиданными были выступления Н. И. Рыжкова и А. Н. Яковлева — я не думал, что они могут сказать такие слова. Генеральному, мне кажется, хотелось, чтобы именно они выступили, поскольку я всегда к ним относился с уважением, и значит, мне слушать их будет особенно больно.

Я уже знал, что после этого начнется долгий процесс, который надо вытерпеть, что сейчас, на Пленуме, меня из состава кандидатов в члены Политбюро не выведут. Нужно ждать Московского Пленума, и на нем сначала меня освободят от должности первого секретаря горкома партии, а потом на другом Пленуме уже выведут из Политбюро. Так оно и получилось. Проголосовали в конце Пленума за короткую резолюцию «считать выступление политически ошибочным» и предложили МГК рассмотреть вопрос о моем переизбрании. Хотя ничего там и близко политически ошибочного нет, и в этом теперь могут убедиться практически все, кто прочитал мое выступление в журнале.

Кстати, когда было объявлено о выходе во втором номере журнала «Известия ЦК КПСС» за 1989 год стенограммы октябрьского Пленума ЦК, я не стал стремиться раньше времени прочитать этот текст. Дождался, когда журнал пришел домой, я подписываюсь на него. Прочитал свое выступление. Удивился слегка — мне казалось, что выступил я тогда острее и резче, но тут, видимо, время виновато, с тех пор общество так продвинулось вперед, столько прошло острейших дискуссий, и на XIX партконференции, и в течение предвыборной кампании... А тогда это была первая критика Генерального секретаря, первая попытка не на кухне, а на партийном форуме гласно разобраться, почему перестройка начала пробуксовывать. Это была первая, так сказать, реализация провозглашенного плюрализма.

А вот выступления других так называемых ораторов я читать не стал. Не смог пересилить себя. Читать — это почти что заново пережить то страшное состояние несправедливости, ощущение предательства... Нет.

Трудное время. Пережил я это тяжело. Несколько дней продержался буквально на одной силе воли, не слег в больницу сразу. Седьмого ноября стоял у Мавзолея В. И. Ленина и был уверен, что здесь я последний раз. Больше всего огорчало, что не сумел довести до конца многое из того, что задумал в Москве, проблем горячих, острых больше чем достаточно. Мне кажется, что я встряхнул городскую партийную организацию, но многого не успел сделать. Чувствовал вину перед горкомом, перед коммунистами Москвы, перед москвичами. Но, с другой стороны, поскольку отношение в Политбюро ко мне вряд ли бы изменилось, а мои предложения по улучшению жизни города наталкивались на стену и в пику мне просто не решались, я не мог позволить себе, чтобы москвичи становились заложниками моего положения. Надо было действительно уходить...

Седьмого ноября произошел интересный случай. Я — еще кандидат в члены Политбюро, поскольку Пле-, нум ЦК, который примет решение о моем освобождении, пройдет позже. В день празднования юбилея Октября собрались генеральные секретари и первые секретари коммунистических и рабочих партий соцстран. Они приехали на совместное совещание, а кроме этого, у каждого были отдельные беседы с Горбачевым. Безусловно, они задали вопросы обо мне, и, конечно же, он всю эту ситуацию интерпретировал. Я могу только догадываться, что он говорил, но, конечно же, он считал во всем виноватым меня. И вот Седьмого ноября вместе со всем составом Политбюро и секретарями ЦК мы шли к Мавзолею, как всегда, по ранжиру — члены Политбюро по алфавиту, кандидаты по алфавиту, секретари ЦК по алфавиту, ну, и Горбачев первый... Руководители компартий сначала поздоровались с ним, как обычно, просто за руку, и все. Потом с нами. Доходит очередь до Фиделя Кастро — подхожу к нему, вдруг он меня троекратно обнимает и что-то по-испански говорит, я не понимаю, но чувствую товарищеское участие. Я жму руку и говорю: «Спасибо». Настроение, конечно, было архиневажное. Дальше, через несколько человек, Войцех Ярузельский делает то же самое: троекратно обнимает и по-русски говорит: «Борис Николаевич, держись!» Я тоже так, тихонечко, сказал, что благодарен за участие. И это все на глазах у Горбачева и на глазах у остальных наших партийных лидеров. Это вызвало у них, пожалуй, даже еще большую настороженность по отношению ко мне.

Они старались не разговаривать со мной, как бы вдруг их не увидели за этим странным занятием. Хотя в тот период некоторые из членов Политбюро в душе, я думаю, поддерживали меня, может быть, не во всем, но поддерживали. Кое-кто из них прислал на праздник поздравительные открытки. Горбачев не посылал. Но и я ему не посылал тогда. Кто мне прислал — тем и я отправил. Конечно, в Политбюро были и есть люди, разделяющие мою позицию, ценящие в какой-то степени самостоятельность суждений, поддерживающие внутренне мои предложения. Но их было немного.

На таких встречах я обычно был прикреплен к кому-то из генеральных или первых секретарей,

обычно к Фиделю Кастро. С ним у меня были очень хорошие отношения. На этот раз я был свободен. Очень, конечно, себя неуютно чувствовал на приеме, старался быть в стороне.

Девятого ноября с сильными приступами головной и сердечной боли меня увезли в больницу. Видимо, организм не выдержал нервного напряжения, произошел срыв. Меня сразу накачали лекарствами, в основном успокаивающими, расслабляющими нервную систему. Врачи запретили мне вставать с постели, постоянно ставили капельницы, делали уколы. Особенно тяжело было ночью, я еле выдерживал эти сумасшедшие головные боли. Ко мне хотела зайти проведать жена, ее не пустили, сказали, что беспокоить нельзя, — слишком плохо я себя чувствовал.

Вдруг утром одиннадцатого ноября раздался телефонный звонок: АТС-1 «Кремлевка», обслуживающая высших руководителей. Это был Горбачев. Как будто он звонил ке в больницу, а ко мне на дачу. Он спокойным тоном произнес: «Надо бы, Борис Николаевич, ко мне подъехать ненадолго. Ну, а потом, может быть, заодно и Московский Пленум горкома проведем». Говорю: «Я не могу приехать, я в постели, мне врачи даже вставать не разрешают». «Ничего, — сказал он бодро, — врачи помогут».

Этого я никогда не смогу понять. Не помню в своей трудовой деятельности, чтобы кого бы то ни было — рабочего, руководителя — увезли больного из больницы, чтобы снять с работы. Это невозможно. Я уже не говорю, что это элементарно противоречит КЗОТу, хотя у нас вроде к руководителям КЗОТ отношения не имеет. Как бы плохо Горбачев ни откосился ко мне, но поступить так — бесчеловечно, безнравственно. Я от него просто этого не ожидал. Чего он боялся, почему торопился, рассчитывал, что я передумаю? Или считал, что в таком виде со мной как раз лучше всего на Пленуме Московского горкома партии расправиться? Может быть, добить физически? Понять такую жестокость невозможно...

Я начал собираться. Послушные врачи, запрещавшие мне не то что ехать куда-то, просто вставать, двигаться, принялись накачивать меня транквилизаторами. Голова кружилась, ноги подкашивались, я почти не мог говорить, язык не слушался, жена, увидев меня, стала умолять, чтобы я не ехал, просила, уговаривала, требовала. Я почти как робот, еле передвигая ногами, практически ничего не понимая, что происходит вокруг, сел в машину и поехал в ЦК КПСС.

Жена, изведенная за эти дни моей болезнью, не выдержала и резко высказалась в адрес начальника 9-го Управления КГБ Плеханова. Она говорила ему: «Это садизм, как вы посмели отпускать больного, вы зачем-то охраняете его, а теперь сами из-за своей трусости можете его убить...» Ему, конечно, ответить было нечего, он был винтиком системы, которая продолжала «замечательно» функционировать. Надо Ельцина охранять — будем охранять, его положено больного привезти — привезем. Я думаю, они бы меня и из могилы доставили куда угодно, на любой Пленум, если бы поступило задание, итак, в таком виде я оказался на Политбюро, практически ничего не соображая. Потом в таком же состоянии очутился на Пленуме Московского горкома... Вся партийная верхушка появилась на Пленуме, когда все участники уже сидели. Главные партийные начальники дружно расположились в президиуме как на выставке, и весь Пленум смотрел на них затравленно и послушно, как кролики на удавов.

Как назвать то, когда человека убивают словами, потому что действительно это было похоже на настоящее убийство?.. Ведь можно было просто освободить меня на Пленуме. Но нет, надо было насладиться зрелищем предательства, когда работавшие со мной бок о бок два года товарищи, взаимоотношения с которыми не были осложнены какими-то шероховатостями, вдруг начали говорить такое, во что поверить мне трудно до сих пор. Если бы я не был под таким наркозом, конечно, начал бы сражаться, опровергать ложь, доказывать подлость выступающих — именно подлость! С одной стороны, я винил врачей за то, что они разрешили вытащить меня сюда, с другой стороны, они накачали меня лекарствами так, что я практически ничего не воспринимал, — и, может быть, я должен быть благодарен им за то, что они в этот момент спасли мне жизнь... Потом я часто возвращался к тому Пленуму, пытаясь понять, что же толкало людей на трибуну, почему они шли на сделку со своей совестью и бросались по указке главного егеря: ату его, ату... Да, это была стая. Стая, готовая растерзать на части, — я бы, пожалуй, иначе и не сказал...

Аргументов было мало, поэтому были или демагогия, или домыслы, или фантазии, или элементарная ложь. А другие набросились на меня просто из страха — раз надо травить, деваться некуда, будем травить. И еще в некоторых людях возникло вдруг странное чувство: наконец-то я тебя пощипаю, ты был начальником, я тебя не мог тронуть, зато сейчас!.. Все это, соединившись, создавало нечто страшное, нечеловеческое.

Так я был снят. Вроде бы по своему заявлению, но снят с таким шумом, визгом, треском, что отзывается во мне до сих пор. Все материалы Пленума были полностью опубликованы в газете

«Московская правда». Когда только пришел на должность первого секретаря горкома партии, я потребовал, чтобы газета начала публиковать полные отчеты с Пленумов: и доклад, и выступления, причем без всяких купюр. На что ЦК партии и сейчас решиться не может, боится. Так что я оказался жертвой собственной инициативы. Шучу, конечно. Наоборот — правда, гласность никогда не могут быть во вред. Для людей непредвзятых публикация в «Московской правде» стала тяжелым ударом, она ясно говорила о нравах лакейства, страха, царивших в партийной верхушке.

Затем я опять попал в больницу. До февральского Пленума удалось выкарабкаться, хотя это уже был четвертый удар. Прошел Пленум достаточно ровно,

Горбачев предложил вывести меня из состава кандидатов в члены Политбюро.

Горбачев осторожно говорил о пенсии. Врачебный консилиум сразу предложил мне подумать об этом. Сначала я, посоветовавшись с женой, сказал: подождите, к этому разговору вернемся после выхода из больницы. Потом подумал, поразмышлял серьезно. Нет, решил, пенсия для меня — это верная гибель. Я не смогу перебраться на дачу и выращивать укроп, редиску — взвою или умру от тоски. Мне нужны люди, нужна работа, без нее я пропаду. Сказал врачам, что не согласен.

Прошло немного времени, мне опять в больницу позвонил Горбачев и предложил работу первого заместителя председателя Госстроя, министра СССР. Мне в тот момент было абсолютно все равно. Я согласился, не раздумывая ни одной секунды.

Мне часто задавали вопрос, да потом и я сам себя спрашивал, почему все же он решил не расправляться со мной окончательно. Вообще с политическими противниками у нас боролись всегда успешно. И можно было меня отправить на пенсию или послом в дальнюю страну. Горбачев оставил меня в Москве, дал сравнительно высокую должность, по сути, оппозиционер остался рядом...

Мне кажется, если бы у Горбачева не было Ельцина, ему пришлось бы его выдумать. Несмотря на его в последнее время негативное отношение ко мне, он понимал, что такой человек, острый, колючий, не дающий спокойно жить забюрокраченному партийному аппарату, — необходим, надо его держать рядышком, поблизости. В этом живом спектакле все роли распределены, как в хорошей пьесе. Лигачев — консерватор, отрицательный персонаж; Ельцин — забияка, с левыми заскоками; и мудрый, всепонимающий главный герой, сам Горбачев. Видимо, так ему все это виделось.

А кроме того, я думаю, он решил не отправлять меня на пенсию и не усылать послом куда-нибудь подальше, боясь мощного общественного мнения. В тот момент и в ЦК, и в редакцию «Правды», да и в редакции всех центральных газет и журналов шел вал писем с протестом против решений Пленумов. Считаться с этим все-таки приходилось.

Мне нужно было выползать, выбираться из кризиса, в котором я очутился. Огляделся вокруг себя — никого нет. Образовалась какая-то пустота, вакуум. Человеческий вакуум. Странная жизнь. Кажется, работал в контакте с людьми. Вообще любил компанию. К людям всегда тянуло, а не к одиночеству. И когда предают один за другим, десяток, второй десяток людей, с которыми работал, которым верил, начинает появляться страшное чувство обреченности. Может быть, это характерная черта сегодняшнего времени? Может быть, у нас общество настолько зачерствело в результате всех этих черных десятилетий, что люди перестали быть добрыми? Как будто вокруг тебя очертили круг, и туда никто не заходит: боятся прикоснуться и заразиться. Как прокаженный. Прокаженный для тех, кто дрожит за свою судьбу, для тех, кто старается угодить, для конъюнктурщиков, но, как это ни грустно, и нормальных людей из тех, которые всегда чего-то боятся...

Да, отвернулись многие. Среди них большинство временщиков, которые выдавали себя за друзей и товарищей, но на самом деле были просто прилипалами. Которъш я был нужен как начальник, как первый секретарь МГК, да и только.

На Пленумах ЦК, других совещаниях, когда деваться было некуда, наши лидеры здоровались со мной с опаской какой-то, осторожностью, кивком головы давая понять, что я в общем-то, конечно, жив, но это так, номинально, политически меня не существует, политически я — труп.

Какое-то смутное ощущение от отсутствия звонков со стороны тех, кто раньше все время звонил, а теперь вдруг перестал. Странно... Часто думал, как я бы повел себя на их месте? Все же уверен в себе абсолютно, никогда бы не бросил человека в беде. Слишком это уж противоречило бы каким-то элементарным человеческим принципам.

Трудно описать то состояние, з котором я пребывал. Трудно. Началась настоящая борьба с самим собой. Анализ каждого поступка, каждого слова, анализ своих принципов, взглядов на прошлое, настоящее, будущее, анализ моих отношений с людьми, и даже в семье, — постоянный анализ, днем и ночью, днем и ночью. Сон три-четыре часа, и опять одолевают мысли.

В таких случаях люди часто ищут выход в религии, обращаются к Богу, некоторые запивают. У меня

не случилось ни того, ни другого. Осталась вера в людей, но уже совсем другая — только в преданных друзей. Наивной веры уже не было.

Я, вспоминая, пропустил через себя сотни людей, друзей, товарищей, соседей, сослуживцев. Пропустил через себя отношение к жене, к детям, внукам. Пропустил через себя свою веру. Что у меня осталось там, где сердце, — оно превратилось в угли, сожжено. Все сожжено вокруг, все сожжено внутри...

Да. Это было время самой тяжелой схватки — схватки с самим собой. Я знал, что если проиграю в этой борьбе, то, значит, проиграю всю жизнь. Поэтому и напряжение было такое, поэтому сил осталось так мало.

Меня все время мучили головные боли. Почти каждую ночь. Часто приезжала «скорая помощь», мне делали укол, на какой-то срок все успокаивалось, а потом опять. Конечно, семья поддерживала чем могла. Бессонные ночи напролет проводила у моей кровати Наина, дочери Лена и Таня помогали как могли. Особенно когда начинались страшные приступы головной боли, готов был лезть на стенку, еле сдерживал себя, чтобы не закричать. Это были адские муки. Часто терпения просто не хватало, и думал, вот-вот сорвусь.

Верил врачам Юрию Алексеевичу Кузнецову, Анатолию Михайловичу Григорьеву и другим, обещавшим, что все это пройдет, это перенапряжение, которое лечит только время. А голова не отключалась... И так изо дня в день. Сдавали нервы. Был невыдержан, иногда срывал это на семье. Когда успокаивался, становилось стыдно, неловко перед самыми близкими мне людьми. Семье многое пришлось выдержать в этот период, но она все прощала.

Жена, дети пытались как-то успокоить меня, отвлечь. А я чувствовал это и заводился... В общем, тяжко им тогда было со мной. И во многом благодарен им, что мне удалось выдержать, вырваться из того удушья.

Потом, позже, я услышал какие-то разговоры о своих мыслях про самоубийство, не знаю, откуда такие слухи пошли. Хотя, конечно, то положение, в котором оказался, подталкивало к такому простому выходу. Но я другой, мой характер не позволяет мне сдаться. Нет, никогда я бы на это не пошел.

Да, жизнь изгнанника... И все-таки это была не жизнь на острове. Это был полуостров, и соединяла мой остров с материком небольшая дорожка. Это была людская дорожка, дорожка верных, преданных друзей, многих москвичей, свердловчан, да и людей со всей страны. И их не беспокоило, что их заподозрят в контактах со мной...

Я стал чаще гулять по улице. Когда работал, вообще забыл, что это такое — просто пройтись и погулять, без охранников, помощников, как обыкновенный москвич, такой же, как все. Это было замечательное состояние. Может быть, единственная радость за все то черное время. Незнакомые люди встречали меня на улице, в магазине, в кинотеатре, приветливо улыбались. Как-то смягчало это, и одновременно думалось — вот, пожалуйста, просто прохожие, а у них благородства значительно больше, чем у тех, многие из которых называли себя друзьями или вершили судьбами.

Что я являюсь политическим изгнанником, мне давали понять везде, — хотя я работал министром, первым зампредом Госстроя, тем не менее все время меня пытались представить человеком в чем-то ущербным. Конечно, решать вопросы в таком положении было трудно, иногда невозможно.

Какие-то кошмарные полтора года... Да и работа, честно говоря, не по мне. Хотя я, как обычно, и окунулся в нее с головой, но все-таки слишком уже втянулся в партийную, политическую жизнь. На этом месте мне не хватало общения с людьми.

Западная пресса к моему имени проявляла постоянный интерес, за каждое интервью меня обязательно упрекали в верхах, поскольку я старался говорить правду. Я не хотел чего-либо скрывать, о чем-то умалчивать, встречаясь с западными журналистами. Десятилетиями нам все время внушалось, что западная пресса только обманывает, только лжет — делает все, чтобы написать про нас гадости и вранье. На самом деле представителей серьезной западной журналистики чаще всего отличает компетентность, глубокий профессионализм, безукоризненное следование журналистской этике, я не говорю про «желтую» прессу, с ней, к сожалению, мне тоже пришлось повстречаться.

Я достаточно спокойно, философски относился к тому, что наша пресса обходит меня вниманием: я знал, журналисты тут ни при чем. Я видел, наоборот, как газетчики пытались пробить материалы через свое руководство, где было бы хоть слово обо мне или маленький абзац. Но материалы эти все равно из номера снимались, а журналисты нередко шли на серьезные конфликты. Но были и другие статьи — злые, несправедливые.

Трудно складывались отношения и с интеллигенцией, кто-то пустил миф, — наверное, это как-то связали с моим характером, — что я лидер сталинского типа, но это абсолютная неправда. Хотя бы

потому, что я нутром, всем своим существом против того, что произошло в те годы. И когда отца уводили ночью, а было мне шесть лет, я это тоже помню.

Впрочем, именно интеллигенция в этот момент не пошла на поводу у аппарата и протянула мне руку. Ирина Архипова, Екатерина Шевелева, Кирилл Лавров, Марк Захаров, многие писатели, художники поздравляли меня с праздниками, присылали письма, приходили поговорить, приглашали в театры, на концерты. Помню телеграмму, как всегда смешную и добрую, от Эдуарда Успенского, детского писателя, придумавшего Чебурашку. Все эти весточки мне были очень дороги.

С трудом, с большим трудом завоевывал сам себя. Месяц за месяцем что-то восстанавливалось, не сразу, но восстанавливалось. Перестали мучить головные боли, хотя спал так же плохо.

Кто остался верен до конца, кто переживал по-настоящему, искренне, кто приезжал поддержать в самую трудную минуту — так это студенческие друзья. Я им благодарен бесконечно. Да они и сейчас переживают, потому что так уж получилось, что я нахожусь в какой-то вечной борьбе.

Постепенно, медленно я входил в колею. Активно включился в работу в Госстрое. Неожиданно для себя выяснил, что не потерял профессионального уровня, все строительные вопросы, входящие в мою компетенцию, мне были близки и знакомы. Я все-таки боялся, что уже отстал.

С Горбачевым мы не встречались и не разговаривали. Один раз только столкнулись в перерыве между заседаниями Пленума ЦК партии. Он шел по проходу, а я стоял рядом, так что пройти мимо меня и не заметить было нельзя. Он остановился, повернулся ко мне, сделал шаг: «Здравствуйте, Борис Николаевич». Я решил поддерживать тональность, которую предложит он. Ответил: «Здравствуйте, Михаил Сергеевич». А продолжение разговора надо связать с тем, что произошло буквально за несколько дней до этого.

Несмотря на опалу и, по сути, политическую ссылку, меня пригласили в Высшую комсомольскую школу — встретиться со слушателями, молодыми ребятами и девчатами. Пробивали они это очень тяжело. Первым проявил инициативу Юрий Раптанов, секретарь комитета комсомола ВКШ, его поддержали почти все учащиеся, кстати, большинство коммунисты, ребята очень зрелые, умные, энергичные.

Сначала секретарь комитета пришел к ректору. Тот замахал руками: «Ты что, Ельцина приглашать?!.» Но Юра стал настаивать, обратился в партком. Секретарь парткома был настроен несколько иначе, более прогрессивно, что ли, он предложил: давайте обсудим этот вопрос на парткоме. И там решили пригласить Ельцина на встречу. Ректор, видя, что все голосуют «за», и понимая, что если он один скажет «против», то ему трудно будет работать в этом коллективе, тоже проголосовал «за». Студенты позвонили мне, и мы договорились о дне и времени встречи. Конечно, все об этом узнали, и прежде всего в ЦК ВЛКСМ, мне сообщили, что будто первый секретарь ЦК комсомола В. Мироненко два раза приезжал в ВКШ, чтобы не допустить этой встречи. Тем не менее она состоялась.

Я уже знал, что встреча будет острой. Так оно и получилось. Сначала я сделал вступление — изложил взгляд на отдельные вопросы политики, экономики, социальной сферы, рассказал о процессах, происходящих в партии. Оно сразу определило остроту дальнейших вопросов и ответов. Принцип у меня был и остался всегда такой: отвечать на самые-самые неудобные вопросы. Ну, и пошли записки острые, сложные, иногда обидные, трудные, всякие... Были вопросы и личностного характера, и обо мне, и о Горбачеве, и о других членах Политбюро и секретарях ЦК — я тоже на них отвечал. Даже на вопросы, какие недостатки у товарища Горбачева, что по тем временам и представить себе было невозможно. Встреча длилась около пяти часов. Все эти пять часов я выстоял на трибуне. Реакция у слушателей была бурная, потом фрагменты этой встречи были опубликованы в газете ВКШ — конечно, в изложении, коротко, но острее, выше, чем находилась планка гласности в тот момент в целом в средствах информации. Конечно, все пять часов были записаны кем надо...

Итак, когда мы поздоровались, Горбачев спросил: «Что, с комсомольцами встречался?» Я говорю: «Да, была встреча, и очень бурная, интересная». — «Но ты там критиковал нас, говорил, что мы недостаточно занимаемся комсомолом?..» Я говорю: «Не совсем точно вам передали. Я говорил не «недостаточно», я говорил, «плохо» занимаются».

Он постоял, видимо, не нашел, что ответить. Несколько шагов мы прошли рядом. Я сказал ему, что вообще, наверное, надо бы встретиться, появляются вопросы... Он ответил: «Пожалуй, да». Ну, и все. Я считал, что, конечно, инициатива должна идти от него. На этом наш разговор закончился.

Вот за полтора года, пожалуй, единственный случай, больше мы не разговаривали, не встречались.

И все-таки я чувствовал: лед тронулся. Мое заточение подходит к концу. Начинается какое-то новое время, совершенно неизведанное, непривычное. И в этом времени пора находить себя.

26 марта 1989 года.

Последний день. Воскресенье. Я чувствую по всем своим домашним легкое волнение, излишнюю суету. Как-то это передается и мне. Но, конечно, мое необычное состояние могут заметить только жена и дети. Кто-то выглянул в окно и с ужасом увидел, что во дворе уже ждут с теле- и видеокамерами представители западных телекомпаний, прямо у дверей подъезда. Уже несколько месяцев соседство зарубежных корреспондентов стало для меня почти таким же привычным явлением, как и присутствие доверенных лиц. Последние дни я уже не мог шага сделать один, спрятаться от журналистов было невозможно. Я, конечно, понимал, это их работа, их профессия, но, честно признаюсь, выдержать такое давление очень тяжело.

А сегодня, понял я, будет пик журналистского ажиотажа. Жена и дети впервые увидят и почувствуют, что это такое, думаю, что это произведет на них тягостное впечатление.

Мы собираемся, одеваемся почти торжественно, выборы — всенародный праздник, и выходим из подъезда. И тут же на нас накидывается толпа журналистов, советских почти нет, в основном западные. Они зачем-то снимают наш семейный поход от дома до Фрунзенского районного Дворца пионеров, где расположен избирательный участок. Я, честно говоря, не очень понимаю, для чего они запечатлевают эти «исторические» кадры, но они носятся, снимают нас то сзади, то спереди.

А у самого Дворца совсем страшная картина. Примерно сто человек с камерами, светом, вспышками, диктофонами окружают меня, наседают, задают вопросы, перебивая, кричат на всевозможных языках. Прорываюсь сквозь толпу, поглядываю на своих, как там они... Они держатся, но явно из последних сил. Поднялся на второй этаж вместе с этой людской, наседающей на меня, массой, зарегистрировался, мне выдали бюллетень.

Я подходил к урне, на меня нацелились десятки объективов. Мне почему-то вдруг стало смешно... Я вспомнил тысячи одинаковых снимков из недавнего прошлого, когда наш стареющий лидер величественно и надолго замирал у урны с бюллетенями, ему явно нравился и этот праздник выборов, и он сам, и завтрашняя будущая фотография на первых полосах всех газет и журналов: «Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Брежнев на избирательном участке...»

И когда на меня наставили теле-, кино- и фотокамеры, я почувствовал, насколько нелепо это выглядит со стороны, пробормотал: «Так дело не пойдет, это кадр из эпохи застоя», — быстренько опустил бюллетень и поспешил к выходу. Кажется, меня никто не успел сфотографировать за этим торжественным занятием: опусканием бумаги в щель, — все корреспонденты бросились за мной и по дороге снесли кабину для тайного голосования. В общем, мне было искренне жаль членов избирательной комиссии, на них обрушился смерч, ураган, и я попытался как можно скорее выйти на улицу, чтобы увести всю эту разбушевавшуюся журналистскую братию из здания Дворца пионеров.

Примерно в течение получаса я не мог вырваться из плотного кольца окружения, отвечал на вопросы по поводу выборов, своих шансов, будущего, прошлого и т. д. и т. п. Наконец прорвался, и почти бегом мы вместе с семьей поспешили от продолжающих нас преследовать журналистов в дом к моей старшей дочери, который был ближе. Там мы от всех спрятались и могли спокойно отдышаться и как-то осознать то, что происходит сегодня. А сегодня настал решающий день. И этот день подведет итоги предвыборной борьбы не с соперником, а с аппаратом.

Практически на каждом избирательном участке столицы находились мои бескорыстные помощники, которые, во-первых, тщательно следили за работой комиссии, чтобы исключить махинации, подтасовки (но я в это не верил, думал, на такое никто бы не пошел), а во-вторых, они сообщали результаты голосования, когда становились известными самые первые предварительные итоги.

За цифры, практически за каждый голос, мы -волновались не случайно. Стало известно о неожиданно принятом решении — всех советских служащих, работающих за рубежом в 29 странах, причислить к Московскому национально-территориальному округу. Это была еще одна, наверное, последняя попытка повлиять на результаты выборов. Всем было ясно, что цифры из-за рубежа поступят самые безрадостные. Скорее всего, в каждом посольстве все послушно проголосуют так же, как проголосовал посол. Все-таки это за границей... Именно поэтому в Москве должен был быть явный перевес, чтобы никакие печальные известия из-за рубежа не могли повлиять на результат.

Когда журналисты, дежурившие у подъезда старшей дочери, поняли, что ждать меня бессмысленно, и разошлись, мы выбрались из своего убежища и решили просто погулять по городу. Каким-то светлым было это путешествие по Москве. Проходили люди, здоровались, улыбались, желали успеха...

Вечером мне сообщили первые предварительные результаты. По всем округам с явным преимуществом я шел впереди. Практически ничто уже не могло помешать моей победе.

«Борис Николаевич! К Вам очень хорошо относятся по всей стране. Все-таки странно, почему делегатом партконференции Вас избрали в Карелии. Почему не в Москве? Или в Свердловске?»

«Скажите, почему на конференции Горбачев Вас не поддержал?»

«Помните Чикирева? Кого он защищал, когда стучал себя в грудь?»

«Не жалеете ли Вы, что с критикой культа личности Генсека выступили перед юбилеем 70-летия Октябрьской революции, а не на XIX партконференции? Не отказало ли Вам чувство политического момента?»

(Из записок москвичей во время встреч, гчитнн-гов, собраний)

К XIX Всесоюзной партконференции готовились все. Готовилось руководство, аппарат Центрального Комитета, многого от нее ждала партия, да и все общество. Сейчас уже можно определенно сказать, что, конечно, конференция смогла дать толчок развитию общества. Однако не стала тем историческим поворотным моментом в жизни страны, каким партконференция должна была стать. Некоторые ее решения оказались более консервативны, чем состояние общества в тот момент. Например, предложение о совмещении функций партийных и советских руководителей, начиная с Генсека и заканчивая районными секретарями, явилось для людей чем-то вроде грома среди ясного неба. Даже Сталин, помнится, не позволил себе соединить две эти должности... Народ это предложение активно не поддержал, зато большинство делегатов послушно приняли резолюцию на этот счет.

Как я уже сказал, к партконференции готовились. Тщательнее обычного избирали делегатов, причем избирали по инструкции, разработанной ЦК- В организации псевдовыборов активно преуспел Разумов, первый зам. зав. орготделом ЦК. Все кадровые вопросы были практически в его руках, и потому субъективизм, симпатии, антипатии, протекционизм были проявлены в полной мере.

Я тогда находился как бы в изгнании, работал в Госстрое, и руководству партии, властям, конечно, не хотелось, чтобы я вернулся к политической жизни. А я в себе чувствовал и силы, и желание начать работать, по сути, заново, да и принципы не позволяли мне спокойно, без борьбы уйти с политической арены.

В тот момент мое выступление на октябрьском 87-го года Пленуме ЦК по-прежнему для всего народа было скрыто, и, конечно, определенный ореол таинственности веял над всей этой ситуацией.

Партийные организации страны стали выдвигать меня делегатом на конференцию. И первой задачей аппарата было не допустить моего избрания. Я был министром, должность достаточно высокая, и в общем сомнений не было, что министры на конференцию будут избраны. Но, смотрю, всех по разным регионам избирают, а меня нет. Полное молчание. Конечно, существовал реальный шанс быть не избранным на XIX партконференцию. Сначала я даже как-то не осознал, что шанс этот более чем велик, но аппарат старался вовсю, — прошло время, и скоро выяснилось, что я оказался единственный министр, не избранный на конференцию. И тогда я понял, насколько все серьезно.

Я считал, что должен попасть на XIX партконференцию и обязан там выступить. Но что делать, если партаппарату, как фокуснику, манипулирующему выборами, удастся меня изолировать, я не знал. По крайней мере, я бы не стал куда-то звонить, чего-то от Горбачева или других членов Политбюро требовать, говорить, что я член ЦК, меня не выдвигают, так не положено, это нечестно... Я не скрывал, по крайней мере, сам от себя, что XIX партконференция, во-первых, даст мне возможность объяснить людям, что же произошло на октябрьском Пленуме, а во-вторых, предоставит, может быть, последний шанс вырваться из политической изоляции и опять начать активно участвовать в общественной жизни страны. Я всегда считал и сейчас считаю, что ничего политически ошибочного в моем выступлении на октябрьском Пленуме ЦК партии не было. И потому был уверен, что мое обращение с трибуны XIX партконференции к ее делегатам, к коммунистам страны, просто к людям поставит все на свои места. Если бы я оказался не избран на конференцию, для меня это было бы тяжелейшим ударом. Наверное поэтому даже не пытался загадывать, что буду делать, если конференция начнется без меня. Уехал бы из Москвы, смотрел бы конференцию по телевизору, попросил бы у Разумова пригласительный билет?.. Нет, даже гипотетически не хочу рассуждать на эту тему. Я обязан был стать делегатом партконференции, и другого варианта быть не могло.

Поднялись свердловские, московские предприятия, коллективы других городов стали принимать

решения о моем выдвижении делегатом конференции. Но аппарат стоял насмерть, и часто все это походило просто на фарс в традициях самых-самых застойных времен. Хотя вроде вокруг разгар перестройки, по крайней мере, уже третий ее год. Систему придумали такую: партийные организации выдвигают множество кандидатур, затем этот список попадает в райком партии, там его просеивают; затем в горком партии, там просеивают еще раз; наконец, в обком или ЦК компартии республики. Решая в узком кругу, оставляли лишь тех, кто, в представлении аппарата, не подведет на конференции, будет выступать и голосовать так, как надо. Эта система действовала идеально, и фамилия «Ельцин» пропадала еще на подступах к главным верхам.

Как я уже говорил, активно проявили себя москвичи, выдвинув меня на многих предприятиях, но где-то, еще не доходя до горкома, а в других случаях и в самом горкоме, моя кандидатура исчезала. Многие партийные организации Свердловска выдвинули меня — Урал-маш, Электромеханический завод, Уралхиммаш, Верх-Исетский завод, Пневмостроймашина и другие крупные предприятия. И Свердловский горком под этим мощным нажимом принял решение рекомендовать меня. Но это еще не все, следующий этап — пленум обкома партии. Там разгорелись настоящие страсти.

Когда рабочие пригрозили забастовкой, а пленум все не мог принять решение, чувствуя, что напряжение нарастает, ситуация может выйти из-под контроля, в ЦК решили отступить. И практически уже на последнем региональном пленуме, проходящем в стране, — он состоялся в Карелии, — меня избрали на конференцию. Мои «доброжелатели» не могли позволить, чтобы я прошел делегатом от таких крупных организаций, какими являлись Москва и Свердловск. Поэтому чуть ли не в последний день я оказался в Петрозаводске. На пленуме меня встретили хорошо, тепло, побывал я в нескольких организациях. Интересный край, интересные люди, хотя, как и всюду, много проблем — экономических, социальных... В общем, так я оказался среди тринадцати делегатов XIX партконференции от Карельской областной партийной организации.

В этот момент произошло еще несколько острых ситуаций. Я рассказывал уже, что во время политической изоляции имя мое в советской прессе было под запретом — такого человека, как Ельцин, вообще не существовало. А западные журналисты постоянно просили у меня интервью, одно из них я дал трем американским телекомпаниям, в том числе и Си-би-эс. Мне сложно понять, зачем понадобилось американцам, выпуская программу в эфир, перемонтировать один из моих ответов, но тем не менее они это сделали, и разразился большой скандал. На одной из пресс-конференций Горбачев сказал: мы с ним, то есть со мной, разберемся, и если он забыл, что такое партийная дисциплина и что он пока еще является членом ЦК, мы ему напомним, в общем, что-то в этом духе.

Кроме этого, произошел еще один неприятный для меня эпизод. Перед самой партконференцией совершенно неожиданно для меня позвонил обозреватель «Огонька» Александр Радов и предложил сделать для журнала большую беседу. Хотя мне было и приятно, что один из самых популярных журналов в стране, — я его обычно читаю полностью, — решил рискнуть и попытаться напечатать интервью со мной, все же я сказал — нет. «Мы будем долго разговаривать с вами, — сказал я журналисту, — вы подготовите беседу, дальше опять будем серьезно работать уже с текстом, а потом все это запретят печатать». Радов настаивал, говоря, что «Огонек» сильный журнал, мы ничего никому показывать не будем, главный редактор В. Коротич острые материалы берет на себя; в общем, уломал он меня, я согласился. И действительно, мы много работали над этим интервью, для меня это было первым выступлением в советской прессе после октябрьского Пленума, поэтому я очень серьезно отнесся к этой публикации. Ну и, естественно, когда все уже было готово, ко мне приехал обескураженный Радов и сообщил, что публикацию из «Огонька» сняли. Коротич решил показать интервью в ЦК, и там потребовали, чтобы материал не появлялся на страницах журнала.

Я не очень удивился, поскольку внутренне был к этому готов, хотя, конечно же, расстроился. Психологически чрезвычайно тяжело ощущать себя немым в собственной стране и не иметь возможности что-то объяснить или сказать людям. Но в этой ситуации больше всего меня поразил В. Коротич, который вдруг стал объяснять в своих интервью, что беседу со мной он не опубликовал потому, что она якобы была не очень хорошая и будто бы я отвечал не на те вопросы, какие журнал интересовали, в частности, мало рассказал о своей новой работе, и вообще с этой беседой надо еще долго работать... Короче, главный редактор решил взять всю ответственность на себя и прикрыть собой руководство ЦК. Зачем? Неужели он сам не понимал, что безнравственно не давать слово человеку, который думает иначе, чем пусть даже сам Генеральный секретарь? Кому, как не ему, журналисту, защищать общечеловеческие принципы свободы слова? Но нет, он начал выкручиваться, что-то выдумывать, вместо того чтобы сказать то, что было на самом деле... Ну, если уж боялся, на худой конец мог бы просто промолчать. Так было бы честнее.

Вот так нервно и дерганно приближалась для меня конференция. Каждый день приносил новые вести, приятного было мало, — честно говоря, в то время я вообще забыл, что это такое — хорошая новость.

XIX партийная конференция открылась в Кремлевском Дворце съездов. Я волновался, когда ехал на первое заседание. После стольких слухов, после долгого «заговора молчания» я впервые появился на людях и прекрасно знал, насколько разной будет их реакция. Много было любопытных, которым просто хотелось на меня посмотреть, от этих взглядов меня всего коробило, я ощущал себя едва ли не слоном в зоопарке... Кто-то из старых знакомых трусливо отводил глаза, словно от «прокаженного». В этой обстановке я чувствовал себя абсолютно неестественно, почти затравленно и поэтому старался в перерывах заседаний сидеть на своем месте. Хотя, конечно, были и те, кто совершенно спокойно ко мне подходил, спрашивал, как дела, поддерживал и словом, и улыбкой, и взглядом.

Карельская делегация сидела далеко-далеко на балконе, между головой и потолком оставалось метра два, и президиум был еле виден. Продолжались выступления, и, как всегда, разные — интересные и смелые, но большей частью заготовленные, проштампованные, пропущенные через аппарат.

И все-таки партконференция была большим шагом вперед. Пожалуй, впервые на наших партийных форумах за некоторые резолюции голосовали «за» не все, как было раньше, единогласно. Я подготовился к выступлению достаточно боевому. В нем решил поставить вопрос о своей политической реабилитации.

Позже, когда XIX конференция закончилась и на меня обрушился шквал писем с поддержкой в мой адрес, многие авторы ставили мне в упрек единственное обстоятельство: зачем я у партконференции просил политической реабилитации? «Что, вы не знали, — спрашивали меня, — кто в большинстве своем избран на конференцию, как проходили выборы на нее? Разве можно было этих людей о чем-то просить?» «И вообще, — писал один инженер, кажется из Ленинграда, — еще Воланд в «Мастере и Маргарите» у Булгакова говорил: никогда ни у кого ничего не просите... А вы забыли это святое правило».

И все-таки я считаю, что был прав, ставя этот вопрос перед делегатами. Важно было обозначить свою позицию и сказать вслух, что решение октябрьского Пленума ЦК, признавшее мое выступление политически ошибочным, — само по себе является политической ошибкой и должно быть отменено. Больших иллюзий, что это произойдет, у меня не было, но все же я надеялся.

В конце концов настоящая народная реабилитация произошла. На выборах в народные депутаты за меня проголосовало почти 90 процентов москвичей, и ничего не может быть дороже этой, самой главной реабилитации... Решение октябрьского Пленума может быть отменено или нет — значения это уже не имеет. Мне кажется, гораздо важнее это теперь для самого Горбачева и ЦК.

Но, впрочем, я забежал вперед. Пока еще надо было добиться права на выступление. Я понимал: будет сделано все, чтобы меня на трибуну не пустить. Те, кто готовил партконференцию, четко представляли, что это будет очень критическое выступление, и им все это слушать не хотелось.

Так оно и получилось. День, два, три, четыре, идет уже последний день конференции... Я все обдумывал, как же быть — как получить трибуну? Список большой, из этого списка, конечно, всегда найдется тот, кому безопасно предоставить слово, лишь бы не дать его мне. Посылаю одну записку — без ответа, посылаю вторую записку — то же самое. Ну что ж, тогда я решил брать трибуну штурмом. Особенно после того, как буквально минут за сорок до перерыва председательствующий объявил, что после обеда конференция перейдет к принятию резолюций и решений. Когда я услышал, что моей фамилии в этом списке нет, решился на крайний шаг. Обратился к нашей карельской делегации. Говорю: «Товарищи, у меня выход один — надо штурмом брать трибуну». Согласились. И я пошел по длинной лестнице вниз, к дверям, которые ведут прямо в проход к трибуне, и попросил ребят-чекистов открыть дверь. А сотрудники КГБ относились ко мне, в основном, надо сказать, неплохо, — они распахнули обе створки дверей, я вытащил свой красный мандат, поднял его над головой и твердым шагом пошел по этому длинному проходу, прямо к президиуму.

Когда я дошел до середины огромного Дворца, зал все понял. Президиум — тоже. Выступающий, по-моему, из Таджикистана, перестал говорить. В общем, установилась мертвая, жуткая тишина. И в этой тишине, с вытянутой вверх рукой, с красным мандатом, я шел прямо вперед, глядя в глаза Горбачеву. Каждый шаг отдавался в душе. Я чувствовал дыхание пяти с лишним тысяч человек, устремленные со всех сторон на меня взгляды. Дошел до президиума, поднялся на три ступеньки, подошел к Горбачеву с мандатом в руке и, глядя ему в глаза, твердым голосом сказал: «Я требую дать слово для выступления. Или ставьте вопрос на голосование всей конференции». Какое-то минутное замешательство, а я стою. Наконец он проговорил: «Сядьте в первый ряд». Ну что ж, я сел в первый ряд, рядом с трибуной. Вижу,

как члены Политбюро стали советоваться между собой, шептаться, потом Горбачев подозвал заведующего общим отделом ЦК, они тоже пошептались, тот удалился, после чего ко мне подходит его работник, говорит: «Борис Николаевич, вас просят в комнату президиума, с вами там хотят поговорить». Я спрашиваю: «Кто хочет со мной поговорить?» — «Не знаю». Говорю: «Нет, меня этот вариант не устраивает. Я буду сидеть здесь». Он ушел. Снова заведующий общим отделом перешептывается с президиумом, снова какое-то нервное движение. Снова ко мне подходит сотрудник и говорит, что сейчас ко мне выйдет кто-нибудь из руководителей. Я понимал, что из зала мне выходить нельзя. Если я выйду, то двери мне еще раз уже не откроют. Говорю: «Что ж, я пойду, но буду смотреть, кто выйдет из президиума». Тихонько иду по проходу, а мне с первых рядов шепотом говорят, — нет, не выходите из зала. Не дойдя метров трех-четырех до выхода, остановился, смотрю в президиум. Рядом со мной расположилась группа журналистов, они тоже говорят: «Борис Николаевич, из зала не выходите!» Да я сам понимал, что из зала выходить действительно нельзя. Из президиума никто не поднялся. Выступающий продолжил свою речь. Ко мне подходит тот же товарищ и говорит: «Михаил Сергеевич обещает дать слово, но надо вернуться к карельской делегации». Я понял, что пока дойду туда, пока вернусь обратно, прения свернут и слова мне не дадут. Поэтому ответил — нет, я у делегации отпросился, поэтому назад не вернусь, а вот место в первом ряду — оно мне нравится. Резко повернулся и сел опять в центр, у прохода, прямо напротив Горбачева.

Собирался ли он меня действительно пустить на трибуну или уже потом пришел к выводу, что для него будет проигрышем, если он поставит вопрос на голосование и зал выступит за то, чтобы дать мне слово? Трудно сказать. В итоге он объявил мое выступление и добавил, что после перерыва перейдем к принятию резолюций.

Я потом пытался проигрывать варианты: а если бы чекисты не открыли дверь, или все же президиуму удалось бы уговорить меня выйти из зала, или Горбачев своим нажимом и авторитетом убедил бы зал прекратить прения, что тогда? Почему-то у меня до сих пор есть твердая уверенность, что я все равно бы выступил. Наверное, тогда я бы напрямую апеллировал к делегатам конференции, и слово они бы мне дали. Даже те, кто относился ко мне плохо, с подозрением или с осуждением, даже им было интересно, что я скажу. Я чувствовал настроение зала и как-то был уверен, что слово мне дадут.

Я вышел на трибуну. Наступила мертвая, почти гнетущая тишина. Начал говорить. Выступление цитирую по стенографическому отчету конференции.

«Товарищи делегаты! Прежде всего я должен ответить на требование выступившего здесь делегата товарища Загайнова по ряду вопросов.

Первый вопрос. Почему я выступил с интервью иностранным телекомпаниям, а не советской прессе? Отвечаю. Прежде всего ко мне обратилось АПН, и я дал интервью еще задолго до телевизионных компаний, но это интервью не было напечатано в «Московских новостях».

Вторично АПН обратилось уже позже, но, так сказать, гарантии тоже не было, что это интервью будет напечатано. Обратилась редакция журнала «Огонек» дать интервью тоже до этого. Я дал интервью в течение двух часов, но это интервью не было напечатано, хотя прошло полтора месяца. По заявлению тов. Коротича, видите ли, это не было разрешено.

Следующий вопрос. Почему я так «нечленораздельно» на организационном Пленуме Московского горкома выступил? Отвечаю. Я был тяжело болен, прикован к кровати, без права, без возможности встать с этой кровати. За полтора часа до пленума меня вызвали на этот пленум, врачи соответственно меня накачали лекарствами. И на этом пленуме я сидел, но что-то ощущать не мог, а говорить практически тем более.

Далее. Получаю письмо от Гостелерадио СССР с объяснением и просьбой, что в связи с конференцией им поручено координировать интервью иностранным телекомпаниям наших руководителей и они просят меня дать его ряду из них.

К этому времени таких просьб набралось пятнадцать. Я сказал первому заместителю председателя Гостелерадио СССР товарищу Кравченко, что смогу по времени дать только двум-трем, не больше. После этого следует от комитета телефонограмма, что определяются три телекомпании: Би-би-си, Си-би-эс, Эй-би-си. Ну, соответственно, я назначил время и в своем кабинете дал интервью этим трем компаниям. Вопросы и ответы шли сразу. На некорректные вопросы, которые бы наносили какой-то ущерб нашему государству, партии, их престижу, я давал решительный отпор.

Далее были вопросы в отношении товарища Лигачева. Я сказал, что имею единые точки зрения в стратегическом плане, по решениям съезда, по задачам перестройки и т. д. У нас есть с ним некоторые разные точки зрения в тактике перестройки, в вопросах социальной справедливости, стиля работы. Детали я не расшифровывал. Был и такой вопрос: «Считаете ли вы, что, будь на месте товарища

Лигачева какой-то другой человек, то перестройка пошла бы быстрее?» Я ответил: «Да». По искажению сказанного телекомпания Си-би-эс (США) дала мое опровержение и письменное извинение за ошибку за подписью заместителя президента телекомпании.

Затем меня вызвал товарищ Соломенцев, потребовал объяснений. Я высказал свое возмущение фактом вызова по такому вопросу и ответил устно на каждый заданный вопрос по интервью. Попытка поискать в Уставе мою вину не удалась. Считаю себя совершенно в этом невиновным. Пленка с полной записью была нашим переводчиком передана товарищу Соломенцеву. Что дальше со мной будете делать, не знаю, но это очень напоминает тень недавнего, недалекого прошлого.

Перехожу к выступлению.

Товарищи делегаты! Главным вопросом конференции, как она задумывалась, является демократизация в партии, имея в виду, что со временем она сильно деформировалась в худшую сторону. И, конечно, обсуждение сегодняшних горячих вопросов в целом перестройки и революционного обновления общества. Сам период подготовки конференции вызвал необычайный интерес и надежды коммунистов и всех советских людей. Перестройка встряхнула народ. И, видимо, перестройку надо было начинать именно с партии. Затем она повела бы за собой, как и всегда, всех остальных. А партия, как раз с точки зрения перестройки, и отстала. То есть получается, что конференцию сегодняшнюю надо было проводить значительно раньше. Это моя личная точка зрения.

Но даже сейчас подготовка шла как-то поспешно. Тезисы опубликованы поздно, составлял их аппарат ЦК. О политической системе там не было сказано главного, что появилось в докладе. Широко к разработке Тезисов не было привлечено даже большинство членов ЦК. Учесть уже в решениях нашей конференции все поступившие предложения, весь кладезь народной мудрости, конечно, не удастся.

Выборы делегатов, несмотря на попытку товарища Разумова в газете «Правда» убедить всех, что они были демократичными, тем не менее в ряде организаций проводились по старым штампам и еще раз показали, что аппарат верхнего эшелона не перестраивается.

Но обсуждение на самой конференции идет интересно. И сейчас самое главное, какие же будут приняты решения? Удовлетворят ли они коммунистов страны, общество в целом? Судя по первому дню, было очень настороженное, я бы сказал, даже тяжелое впечатление. Но с каждым днем накал нарастал, и все интереснее и интереснее слушать делегатов, и, видимо, это отразится на принятых решениях.

Хотелось бы высказать некоторые замечания и предложения, касающиеся Тезисов ЦК, с учетом речи тов. Горбачева.

По политической системе. Здесь считаю главным, чтобы действовал такой механизм в партии и обществе, который исключал бы ошибки, даже близко подобные прошлым, отбросившие страну назад на десятилетия, не формировал «вождей» и «вождизм», создал подлинное народовластие и дал для этого твердые гарантии.

Предложение в докладе о совмещении функций первых секретарей партийных комитетов и советских органов для делегатов оказалось настолько неожиданным, что здесь рабочий, выступая, говорил, что «ему это пока непонятно». Я как министр скажу: мне тоже. Для осмысления нужно время. Это слишком сложный вопрос, а затем я, например, предлагаю по этому вопросу провести всенародный референдум. *(Аплодисменты.)*

Некоторые предложения по выборам: они должны быть общими, прямыми и тайными, в том числе секретарей, Генерального секретаря ЦК, снизу доверху из состава бюро в областях или Политбюро, тоже выбранных всеми коммунистами таким же путем (как бы делать два тура выборов). Это должно касаться и Верховного Совета, профсоюзов и комсомола. Без всяких исключений, тем более для высшего эшелона, ограничить пребывание на выборной должности двумя сроками. На второй срок избирать только при реальных результатах работы за предыдущий период. Ввести четкие ограничения в этих органах, в том числе и в Политбюро, по возрасту до 65 лет. Отчет по срокам внести с предыдущих выборов, а по возрасту — с текущего года.

Наша партия, общество в целом доросли до того, чтобы им доверять решать самостоятельно такие вопросы, а перестройка от этого только выиграет.

Все сказанное, а не предложенная некоторыми двухпартийная система, по моему мнению, и будет определенной гарантией против культа личности, который наступает не через 10 — 15 лет, а зарождается сразу, если имеет почву. Думаю, нам уже сейчас надо остерегаться этого, так как пренебрежение ленинскими принципами за прошедшие годы и так много бед принесло народу. Должны быть жесткие преграды, установленные Уставом или законом.

В ряде стран установлен порядок: уходит лидер — уходит руководство. У нас во всем привыкли

обвинять умерших. Сдачи, тем более, не получишь. Сейчас получается: в застое виноват один только Брежнев. А где были те, кто по 10 — 15 — 20 лет и тогда, и сейчас в Политбюро? Каждый раз голосовали за разные программы. Почему они молчали, когда решал один с подачи аппарата ЦК судьбы партии, страны, социализма? Доголосовались до пятой Звезды у одного и кризиса общества в целом. Почему выдвинули больного Черненко? Почему Комитет партийного контроля, наказывая за относительно небольшие отклонения от норм партийной жизни, побоялся и сейчас боится привлечь крупных руководителей республик, областей за взятки, за миллионный ущерб государству и прочее? Причем наверняка зная о некоторых из них. Надо сказать, этот либерализм со стороны товарища Соломенцева по отношению к взяточникам-миллионерам вызывает какое-то беспокойство.

Считаю, что некоторые члены Политбюро, виновные как члены коллективного органа, облеченные доверием ЦК и партии, должны ответить: почему страна и партия доведены до такого состояния? И после этого сделать выводы — вывести их из состава Политбюро. *(Аплодисменты.)* Это более гуманный шаг, чем, критикуя, посмертно перезахоранивать!

Впредь предлагается такой порядок: меняется Генеральный секретарь — обновляется Политбюро, кроме недавно вошедших; в основном обновляется и аппарат ЦК. Тогда люди не будут в постоянном административном капкане. Тогда не будут критиковаться только после смерти, зная, что отвечать перед партией придется каждому, в том числе и всему выборному органу.

И еще. Сейчас при четком заявлении Генерального секретаря, что у нас нет зон, руководителей, в том числе и его, вне критики, на деле оказывается не так.

Зона, черта есть, выше которой при первой же попытке критики следует мгновенное предостережение: «Не тронь!» Вот и получается, что даже члены ЦК боятся высказать свое личное мнение, если оно отличается от доклада, высказаться в адрес руководства.

Это создает самый большой ущерб, деформирует партийную совесть и личность, приучает при каждом предложении «есть мнение» сразу поднимать руки: все «за». Конференция настоящая — это, пожалуй, первое исключение из этого, уже вошедшего в правило. Пока получается, что политика, проводимая руководящими органами, по существу сохраняет свою неприкасаемость, остается вне критики, вне контроля народных масс и сегодня.

Следует согласиться с предложением в докладе о создании из членов ЦК комиссий по направлениям, без рассмотрения и согласия которых не принималось бы ни одно принципиальное постановление ЦК партии. А сейчас, по существу, постановление не ЦК, а его аппарата, и многие из них сразу становятся мертворожденными. Крупные проекты обсуждать во всей партии и стране, причем практиковать референдумы. Как правило, исключить совместные постановления ЦК и Совета Министров СССР.

Да, мы гордимся социализмом и гордимся тем, что сделано, но нельзя кичиться этим. Ведь за семьдесят лет мы не решили главных вопросов — накормить и одеть народ, обеспечить сферу услуг, решить социальные вопросы. На это и направлена перестройка общества, но идет она с большим торможением, а значит, каждый из нас недостаточно трудится, недостаточно борется за нее. Но также одной из главных причин трудностей перестройки является ее декларативный характер. Объявили о ней без достаточного анализа причин возникшего застоя, анализа современной обстановки в обществе, без глубокого анализа в разрезе истории допущенных партией ошибок и искажений. И как результат перестройки — за три года не решили каких-то ощутимых реальных проблем для людей, а тем более не добились революционных преобразований.

Осуществляя перестройку, надо ставить рубежи не только до 2000 года (сейчас многим не интересно, что он получит и придется ли получать тогда), а на каждые два-три года ставить и решать окончательно одну-две задачи на благо людей. Не разбрасываясь за счет других направлений, сосредоточить именно туда все — ресурсы, науку, энергию людей. Тогда с резко возросшей верой, что перестройка общества идет, что она дает результаты, что она необратима, люди значительно быстрее решат и другие проблемы. А пока вера людей может качнуться в любой момент. Пока все находились под гипнозом слов — это спасало. В дальнейшем — это риск потерять управление и политическую стабильность.

И об открытости в партии. В партии должно быть нормальным явлением многообразие мнений (это ведь не унификация). И наличие отличного мнения меньшинства не разрушит, а укрепит единство партии. Партия для народа, и народ должен знать все, что она делает. Этого, к сожалению, нет. Должны быть и подробные отчеты Политбюро и Секретариата, кроме вопросов, содержащих государственную тайну. Это знание и жизни, и биографии руководителей, и чем они занимаются, и сколько получают, и какие результаты у каждого руководителя верхнего эшелона на его участке. Это и регулярные выступления по телевидению, и результаты приема в партию, обобщение писем трудящихся в ЦК и так далее. В общем, это должна быть вся партийная социология о моральном здоровье руководителей

партии и государства. Она должна быть для всех открытой, а не тайной.

Есть и такие «запретные», «тайные» темы, как, например, вопросы финансов партийного бюджета. В уставе сказано: как расходовать финансы, определяет ЦК КПСС, то есть не аппарат, а ЦК. Но такие вопросы на Пленумах не обсуждались. Впредь предлагаю это делать обязательно. Так как, куда расходуются партийные деньги (а это сотни миллионов рублей), неизвестно ни членам ЦК, ни, конечно, другим коммунистам. Ревизионная комиссия на съезде об этом не докладывает, да ее, видимо, к кассе и не подпускают.

Я, например, знаю, сколько перечисляется миллионов рублей ЦК от Московской городской и Свердловской областной партийных организаций. Но куда они расходуются — не знаю. Только вижу, что кроме рациональных расходов строятся роскошные особняки, дачи, санатории такого размаха, что стыдно становится, когда туда приезжают представители других партий. А надо бы за счет этого материально поддержать первичные партийные организации, в том числе и по зарплате их руководителей. А потом мы удивляемся, что некоторые крупные партийные руководители погрязли в коррупции, взятках, приписках, потеряли порядочность, нравственную чистоту, скромность, партийное товарищество.

Разложение верхних слоев в брежневский период охватило многие регионы, и недооценивать, упрощать этого нельзя. Загнивание, видимо, глубже, чем некоторые предполагают, и мафия, знаю по Москве, существует определенно. (

Вопросы социальной справедливости. Конечно, по-крупному, на социалистических принципах они у нас решены. Но остались некоторые вопросы, которые не решаются, вызывают возмущение людей, снижают авторитет партии, пагубно действуют и на темпы перестройки.

Мое мнение. Должно быть так: если чего-то не хватает у нас, в социалистическом обществе, то нехватку должен ощущать в равной степени каждый без исключения. *(Аплодисменты.)* А разный вклад труда в общество регулировать разной зарплатой, надо, наконец, ликвидировать продовольственные «пайки» для, так сказать, «голодающей» номенклатуры, исключить элитарность в обществе, исключить и по существу, и по форме слово «спец» из нашего лексикона, так как у нас нет спецкоммунистов.

Думаю, что это очень поможет работать с людьми партийным работникам, поможет перестройке.

Структура и сокращение партийного аппарата. Не будет осуществлен ленинский призыв «Вся власть — Советам!» при столь могучем партийном аппарате. Предлагаю сократить аппарат в обкомах в 2 — 3раза, в ЦК в 6 — 10 раз, с ликвидацией отраслевых отделов.

Хотел бы сказать о молодежи. В Тезисах о ней почти ничего нет. В докладе сказано много, и я бы поддержал предложение о принятии отдельной резолюции по молодежи. Не нам, а ей отводится главная роль по обновлению нашего социалистического общества. Надо смело приучать ее руководить процессами на всех уровнях, надо смело отдавать целые пласты руководства всех абсолютно рангов молодежи.

Товарищи делегаты! Щепетильный вопрос. Я хотел обратиться по вопросу политической реабилитации меня лично после октябрьского Пленума ЦК. *(Шум в зале.)* Если вы считаете, что время уже не позволяет, тогда все.

Горбачев М. С. Борис Николаевич, говори, просят. *(Аплодисменты.)* Я думаю, товарищи, давайте мы с дела Ельцина снимем тайну. Пусть все, что считает Борис Николаевич нужным сказать, скажет. А если у нас с вами появится необходимость, то мы тоже можем потом сказать. Пожалуйста, Борис Николаевич!

Ельцин Б. Н. Товарищи делегаты! Реабилитация через 50 лет сейчас стала привычной, и это хорошо действует на оздоровление общества. Но я лично прошу политической реабилитации при жизни. Считаю этот вопрос принципиальным, уместным в свете провозглашенного в докладе и в выступлениях социалистического плюрализма мнений, свободы критики, терпимости к оппоненту.

Вы знаете, что мое выступление на октябрьском Пленуме ЦК КПСС решением Пленума было признано «политически ошибочным». Но вопросы, поднятые там на Пленуме, неоднократно поднимались прессой, ставились коммунистами. В эти дни все эти вопросы практически звучали вот с этой трибуны и в докладе, и в выступлениях. Я считаю, что единственной ошибкой в выступлении было то, что я выступил не вовремя — перед 70-летием Октября.

Видимо, всем нам надо овладевать правилами политической дискуссии, терпеть мнение оппонентов, как это делал В. И. Ленин, не навешивать сразу ярлыки и не считать еретиками.

Товарищи делегаты! И в выступлениях на конференции, и в моем выступлении полностью нашли отражение вопросы, высказанные мной на октябрьском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС. Я остро переживаю случившееся и прошу конференцию отменить решение Пленума по этому вопросу. Если

сочтете возможным отменить, тем самым реабилитируете меня в глазах коммунистов. И это не только личное, это будет в духе перестройки, это будет демократично и, как мне кажется, поможет ей, добавив уверенности людям.

Да, обновление общества дается тяжело. Но сдвиги, пусть небольшие, есть, и сама жизнь заставит нас идти только по этому пути. *(Аплодисменты.)»*

Я выступил. В какой-то степени сказалось сильнейшее напряжение, но тем не менее, мне кажется, я справился с собой, со своим волнением, и все, что хотел и должен был- сказать, сказал. Реакция была хорошей, по крайней мере, аплодировали до тех пор, пока я не вышел из зала и отправился наверх, на балкон, к карельской делегации. В это время объявили перерыв, моя делегация проявила ко мне теплое внимание, кто-то улыбкой, кто-то пожатием руки пытался меня поддержать. Я был возбужден, находился в напряжении, вышел на улицу, меня обступили и делегаты, и журналисты, задали массу вопросов.

Ничего не подозревая, после перерыва я сел со своей делегацией. Сейчас по регламенту начнется принятие резолюций, других решений конференции. Но, оказывается, перерыв был использован для того, чтобы подготовить контрудар по мне и по моему выступлению. Целым залпом.

Запоминающейся была речь Лигачева. Она разойдется потом по анекдотам, репризам, спектаклям, сатирическим рисункам и т. д. В опубликованной стенограмме его речь даже вынуждены были поправить, уж слишком бездарно выглядел главный идеолог страны. Каких только ярлыков он на меня не повесил, чего он только про меня не насочинял. Несмотря на все его бурные старания, это было мелко, пошло, бескультурно.

Мне кажется, именно после этого выступления успешно подошла к концу его политическая карьера. Он сам себе нанес такой сокрушительный удар, что оправиться от него уже не сможет никогда. Ему надо было бы после партконференции подать в отставку, но ему не хочется. Не хочется, но все равно придется. Деваться ему, с тех пор вызывающему у многих нервный смех, некуда.

Следующее выступление. Лукин. Молодой первый секретарь Пролетарского райкома партии г. Москвы. Он старательно выливал на меня грязь, выполняя почетное задание начальства. Я потом о нем часто думал, как же он будет дальше жить со своей совестью?.. А в конце концов решил, что жить он со своей совестью будет замечательно, она у него закаленная. Эти молодые карьеристы, поднимаясь наверх, столько разного успевают налгать, наворотить, что лучше про совесть тут вообще це упоминать.

Чикирев. Директор завода имени Орджоникидзе. Это он сочинил историю про первого секретаря, который из-за меня будто бы бросился с седьмого этажа, кроме этого он еще много чего наговорил. Я это слушал и не мог понять — страшный сон это или явь. Я был у него на заводе, однажды даже целый день провел там вместе с министром Паничевым. Как всегда, побывал и в столовой, и в бытовках, и в конце встречи высказал замечания, он вроде бы согласился. И вдруг тут понес такое, что пересказать просто невозможно, лгал, передергивал факты. Состояние, конечно, у меня было тяжелейшее.

Совершенно неожиданно для всех, испортив запланированный сценарий, на трибуну вышел свердловчанин В. А. Волков и сказал добрые слова в мой адрес. До этого я Волкова никогда не знал. Его импульсивное, искреннее выступление — это естественная человеческая реакция на воинствующую несправедливость. Но испуганный первый секретарь Свердловского обкома партии Бобыкин через несколько минут отправил записку в президиум. Я ее процитирую: «Делегация Свердловской областной партийной организации полностью поддерживает решения октябрьского (1987г.) Пленума ЦК КПСС по товарищу Ельцину. Товарища Волкова никто не уполномочивал выступать от имени делегатов. Его выступление получило полное осуждение. От имени делегации — первый секретарь обкома партии Бобыкин». Но с делегацией-то он не советовался.

В заключение Горбачев тоже немало сказал в мой адрес. Но все-таки не так базарно и разнузданно.

Все, кто был рядом, боялись даже повернуться ко мне. Я сидел неподвижно, глядя на трибуну сверху с балкона. Казалось, вот-вот я потеряю сознание от всего этого. Видя мое состояние, ко мне подбежали ребята, дежурившие на этаже, отвели к врачу, там сделали укол, чтобы я все-таки смог выдержать, досидеть до конца партконференции. Я вернулся, но это было и физическое, и моральное мучение, все внутри горело, плыло перед глазами...

Трудно я пережил все это. Очень трудно. Не спал две ночи подряд, переживал, думал — в чем дело, кто прав, кто не прав?.. Мне казалось, все кончено. Оправдываться мне негде, да я бы и не стал. Заседание XIX конференции Центральное телевидение транслировало на всю страну. Отмыться от грязи, которой меня облили, мне не удастся. Я чувствовал: они довольны, они избили меня, они победили. В тот момент у меня наступило какое-то состояние апатии. Не хотелось ни борьбы, ни объяснений, ничего, только бы все забыть, лишь бы меня оставили в покое.

А потом вдруг в Госстрой, где я работал, пошли телеграммы, письма. И не десять, не сто, а мешками, тысячами. Со всей страны, из самых дальних уголков. Это была какая-то фантастическая всенародная поддержка. Мне предлагали мед, травы, малиновое варенье, массаж и т. д. и т. д., чтобы я подлечил себя и больше никогда не болел. Мне советовали не обращать внимания на глупости, которые про меня наговорили, поскольку все равно в них никто не верит. **От** меня требовали не раскисать, а продолжать борьбу за перестройку.

Столько трогательных, добрых, теплых писем я получил от совершенно незнакомых мне людей, что мне все не верилось, и я спрашивал себя, откуда это, почему, за что?..

Хотя, конечно, понимал, откуда эти искренние чувства. Наш натерпевшийся народ не мог спокойно и без сострадания смотреть, как над человеком издевались. Людей возмутила явная, откровенная несправедливость. Они присылали эти светлые письма и тем самым протянули мне свои руки, и я смог опереться на них и встать.

Я смог идти дальше.

27 марта 1989 года.

Вот и все. Закончился многомесячный марафон. Не знаю, что я больше испытываю — усталость или облегчение?..

Мне сообщили уточненные итоги выборов. За меня проголосовало 89,6 процента избирателей. Конечно, это не совсем нормальные цифры, при цивилизованных, так сказать, человеческих выборах число должно быть меньше. Но у нас людей довели до такого состояния, а меня с таким усердием пытались опорочить, оболгать, не пустить, что я вполне мог и больше голосов набрать при таком раскладе.

Сейчас появилась новая расхожая формула: голосовали не за Ельцина, голосовали против аппарата. Предполагается, что эта фраза должна меня обидеть. А по-моему, это замечательно. Значит, все-таки не зря я начал эту непосильную борьбу против партийной бюрократии. Если протест против аппарата ассоциируется с именем Ельцина, значит, был смысл и в моем выступлении на октябрьском Пленуме ЦК и на XIX партконференции.

Очень хочется остановиться, оглянуться, сделать паузу. Уж слишком гонка была утомительной и выматывающей. Но ничего не получится. Уже на меня обрушились новые заботы и проблемы.

Написал заявление Председателю Совета Министров СССР Н. И. Рыжкову с просьбой освободить меня от занимаемой должности министра. По Закону о выборах, народный депутат не может одновременно являться и министром. Так что с сегодняшнего дня я стал официально безработным.

А в доме каждый день гремит телефон — десятки, сотни звонков: все поздравляют, желают, обнимают... Договорились с Наиной уехать из Москвы на пару недель, спрятаться от всех.

Все-таки я сильно устал. И хочется отдохнуть...

Иногда мне кажется, что я прожил три разных жизни. Первая хоть и была напряженной, сложной, но все же похожа на жизнь остальных людей — учеба, работа, семья, путь хозяйственного, партийного руководителя. Она закончилась в день проведения октябрьского Пленума ЦК, и началась вторая жизнь — существование политического изгнания, когда кругом был вакуум, пустота. Я оказался отрезан от людей и вел борьбу за свое выживание — и как человек, и как политический деятель. В день победы во время выборов в народные депутаты началась третья моя жизнь, третье мое рождение. Меньше года прошло с того момента. И если о первых двух этапах мало что было известно, то после выборов все происходящее со мной — работа на съезде народных депутатов и сессии Верховного Совета СССР, создание Межрегиональной депутатской группы, поездка в США, попытки скомпрометировать меня и т. д. — все эти действия разворачиваются на глазах у всех, здесь нет никаких тайн и неизвестных страниц.

И все же, поскольку эти месяцы спрессовали в себе так много разных событий, не рассказать о них нельзя.

Начну по порядку.

После столь убедительной победы на выборах пошли активные слухи, что на съезде народных депутатов я собираюсь бороться с Горбачевым за должность Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Не знаю, где рождались эти слухи — среди моих сторонников, вошедших в раж в связи с победой, или, наоборот, в стане моих противников, перепугавшихся столь бурной реакции москвичей, но слухи эти продолжали упорно циркулировать.

Как к этому относился я? Да почти никак. Я совершенно реально представлял себе сложившуюся политическую ситуацию в стране, достаточно точно оценивал соотношение будущего меньшинства и большинства на съезде народных депутатов, так что иллюзии и амбиции на этот счет у меня полностью отсутствовали. Хотя, конечно, я понимал, что Горбачева моя фигура на съезде будет беспокоить очень серьезно. И он захочет узнать, чего же все-таки я хочу.

Примерно за неделю до открытия съезда он мне позвонил и предложил встретиться, переговорить. Встреча продолжалась около часа, впервые после долгого перерыва мы сидели напротив друг друга, разговор был напряженный, нервный, многое из того, что накопилось у меня за последнее время, я высказал ему. Меньше всего меня беспокоили собственные проблемы. Страна разваливается — вот что ужасно. И аппаратно-бюрократические игры как шли, так и идут, и главное в них — всю власть сохранить в руках аппарата, ни капли ее не уступить съезду народных депутатов. Я все пытался достучаться — с кем вы, Михаил Сергеевич, с народом или с системой, доведшей страну до края пропасти?..

Он отвечал жестко, резко, и чем больше мы говорили, тем мощнее вставала между нами стена непонимания. И когда стало совсем ясно, что человеческий контакт невозможен, доверительные отношения исключены, сбавив тон и напор, Горбачев спросил меня о дальнейших планах — чем я предполагаю заниматься, где вижу себя в дальнейшей работе. Я ответил сразу — все решит съезд. Горбачеву этот ответ не понравился, он хотел все же получить от меня какие-то гарантии и потому продолжал спрашивать, — а как я смотрю на хозяйственную работу, может быть, меня заинтересует работа в Совмине? А я продолжал твердить свое — все решит съезд. Наверное, я был прав, до съезда о чем-то серьезном говорить было бессмысленно, но Горбачева мой ответ раздражал, ему хотелось узнать о моих намерениях. Он, видимо, считал, что я что-то скрываю. Но я совершенно искренне не строил никаких преждевременных планов, только после работы съезда можно было о чем-то думать на этот счет. Так мы и расстались.

Уже на следующий день по Москве опять поползли новые слухи. Где тот поэт, а также певец, который воспоет оду нашим отечественным слухам? При дефиците правдивой (и даже лживой) информации народ живет слухами. Это самое главное телеграфное агентство Советского Союза, главнее самого ТАСС. Хочется верить, что кто-нибудь изучит природу наших слухов, механизмы их возникновения и распространения, — увлекательная книжка, должно быть, получится.

Итак, в этот раз слухи сообщали, что действительно Горбачев встречался с Ельциным и предложил ему должность первого зама премьер-министра, Ельцин на зама не согласился, поскольку хотел быть Председателем Верховного Совета. Тогда Горбачев был вынужден отдать ему пост первого заместителя Председателя, тот опять не согласился, и в результате Горбачев предложил в жертву должность первого секретаря МГК... Ельцин на зто дал согласие.

Примерно такой вариант или близкий к этому, а также всякие другие версии сообщали мне с разных сторон, приходилось только качать головой и удивляться человеческой фантазии.

Вскоре начался съезд. О нем я скажу совсем несколько слов, поскольку всякий интересующийся имел возможность в мельчайших подробностях следить за его ходом. Горбачев принял принципиально важное решение о прямой трансляции по телевидению работы съезда. Те десять дней, когда вся страна не отрываясь следила за отчаянными съездовскими дискуссиями, дали людям в политическом отношении гораздо больше, чем семьдесят лет, умноженные на миллионы марксистско-ленинских политчасов, выброшенных на оболвани-вание народа. В день открытия съезда это были одни люди, в день закрытия они стали уже другими. И как бы все мы негативно ни относились к итогам съезда народных депутатов, как бы ни переживали и ни расстраивались из-за упущенных возможностей, не сделанных в нужном направлении политических и экономических шагов, все же главное случилось. Народ, почти весь народ, проснулся от спячки.

Как всегда, не обошлось без приключений у меня. Когда шли дискуссии, каким образом из числа народных депутатов выбирать членов Верховного Совета СССР, я категорически настаивал на том, чтобы выборы были альтернативными. Честно признаюсь, сердцем надеялся, что все-таки выберут меня в Верховный Совет, а трезвым умом понимал — от этого состава съезда народных депутатов ничего хорошего ожидать не приходится. Тихое и послушное большинство, пришедшее к нам из недавнего прошлого, смолотит любое предложение, не угодное начальству. Так и случилось. Первые же голосования показали, как успешно Михаил Сергеевич дирижирует съездом, и выборы в Верховный Совет только лишь подтвердили, что железобетонное большинство преградит путь любому, кто слишком много высовывается. Не избрали Сахарова, Черниченко, Попова, Шмелева — прекрасных, уважаемых, компетентных депутатов. Не прошедших отбор съезда трудно перечислить, их много. Не

прошел и я. За меня проголосовало больше половины депутатов, но по количеству голосов я уступил своим коллегам. Я не расстроился. Говорю это теперь не для того, чтобы продемонстрировать свою выдержку. Нет, просто иного ожидать было нельзя. Если бы этот состав съезда сразу же выбрал меня в Верховный Совет — вот тогда я бы очень удивился. Произошел естественный ход вещей, и я с интересом ждал, как Горбачев будет выкручиваться из ситуации, в которую он сам себя загнал.

Конечно, это был скандал. Все понимали, что ситуация из-за меня может сложиться в конце концов просто взрывоопасной. Москвичи восприняли итоги выборов как демонстративное игнорирование мнения миллионов людей. Вечером начали стихийно проходить митинги, то тут, то там звучали требования о политической забастовке... Горбачев сам не ожидал такого поворота вещей, но ничего сделать было нельзя, итоги выборов уже утверждены.

Но, как всегда бывает в нашей действительности, в конце концов появляется одиночка, который умудряется найти выход из самого тупикового положения. На этот раз такой палочкой-выручалочкой стал Алексей Казанник, депутат из Омска. Его выбрали в состав Верховного Совета, но он снял свою кандидатуру в мою пользу. Съезд должен был утвердить эту рокировку, и, когда в зале поднялись руки и Горбачев увидел, что предложение проходит, на его лице было нескрываемое облегчение.

Так я стал депутатом Верховного Совета СССР и вопрос о моей будущей работе сам собой отпал. Через несколько дней меня выбрали председателем Комитета Верховного Совета СССР по строительству и архитектуре, в связи с этим я вошел в состав Президиума Верховного Совета СССР.

Про съезд можно рассказывать долго. Драматичных, захватывающих, острейших ситуаций на нем произошло множество. Но еще раз повторюсь, свидетелями этих событий была вся страна, да и весь мир, которому далеко не безразлично, что творится на одной шестой части света... Поэтому не буду больше подробно останавливаться на этих эпизодах, жизнь после этого ушла вперед.

Почти два месяца работы сессии Верховного Совета СССР, организация Комитета по строительству и архитектуре, полная неразбериха в осуществлении депутатских функций — отсутствие кабинетов для работы, помещений для приема избирателей, невнятные рекомендации относительно секретаря-помощника депутата, диктатура аппарата Верховного Совета над самими депутатами, в общем — наш традиционный хаос. Мы учимся, поступили только лишь в первый класс большой парламентской школы, а пока дойдем до университета, страшно представить, сколько времени пройдет.

Из ключевых эпизодов лета — забастовки шахтеров, всколыхнувшие всю страну. Время послушного, испуганного, марионеточного рабочего класса прошло, и я хочу верить, оно кончилось навсегда. На арену вышел совсем другой рабочий, уважающий свое достоинство и свой труд. Конечно, очень много по-прежнему запуганных, усталых, с трепетом глядящих на начальство людей, вообще, страх вошел уже в наши гены, но других — с распрямившимися плечами, с поднятой головой рабочих с каждым днем все больше и больше. Эти рабочие возглавили стачечные комитеты, за этими рабочими пошли тысячи, десятки тысяч горняков.

Реакция Москвы была в этот раз точной и быстрой. Пару дней, пожалуй, газеты писали о требованиях забастовщиков в раздраженном и привычно понукающем тоне, а потом разом со всех трибун, со всех газетных полос — полная поддержка позиции шахтеров.

Естественно, если бы забастовал один регион — реакция оказалась бы противоположной. Но то, что удалось объединиться шахтерам всей страны, определило успех забастовки.

К сожалению, этой ситуацией не смог в полной мере воспользоваться Рыжков со своей, новой командой. В этот момент у него был реальный шанс сломать хребет командно-административной системе. И Верховный Совет, и общественное мнение оказались подготовлены к радикальным экономическим реформам. Но опять были предложены полумеры, опять все свелось к попыткам решить проблемы только одной отрасли... Еще одно важнейшее событие, в котором я принимал активное участие, — это создание Межрегиональной депутатской группы.

29 — 30 июля 1989 года, я думаю, войдут в историю становления нашего общества. В Москве, в Доме кино, состоялось первое собрание Межрегиональной депутатской группы народных депутатов. Рухнула эпоха единомыслия и единодушия. Несмотря на беспрецедентное давление на депутатов, на то, что в многочисленных кремлевских залах не оказалось места для этого собрания, несмотря на попытку обозвать нас раскольниками, фракционерами, диктаторами и прочее, всех ругательных слов не перечислить, — мы собрались.

Зачем нам это было надо? То, что происходит в стране, граничит с катастрофой. Полумерами, полушагами ситуацию не спасти. Только решительные, радикальные шаги могут вытянуть нас из пропасти. То, что провозглашали в своих предвыборных программах прогрессивные депутаты, все здравые идеи выхода из тупика мы попытались объединить в тезисах и платформе МДГ. Были проведены выборы

сопредседателей группы, ими стали пять человек — Афанасьев, Ельцин, Пальм, Попов, Сахаров.

В этой книге я не хотел много теоретизировать. Но, может быть, настало время хотя бы в нескольких словах обозначить ту программу, на которой я стою и которую разделяют многие депутаты, входящие в Межрегиональную депутатскую группу.

Кстати, как это ни странно, но принципиальных положений, по «которым расходятся так называемые правые и левые, — их немного. Наверное, самое главное — это вопрос о собственности. Признать частное или индивидуальное, кому как нравится, владение собственностью — и рухнет основной бастион, на котором держится государственный монополизм и все, что с ним связано, — государственная власть, отчуждение человека от собственного труда и т. д. Второе, наверное, не менее важное — вопрос о земле. Лозунг «Земля — крестьянам!» сейчас еще более актуален, чем семьдесят с лишним лет назад. Только если на земле появится хозяин, страна будет накормлена. Далее — децентрализация власти, экономическая самостоятельность республик и реальный суверенитет. При этом во многом будут решены национальные проблемы. Устранение всех ограничений экономической, финансовой, хозяйственной самостоятельности предприятий и трудовых коллективов. Оздоровление финансовой ситуации в стране — оно связано с теми мерами, о которых я говорил уже выше, но необходимы еще и специальные финансовые мероприятия, которые могли бы предотвратить полный крах рубля.

Здесь я много распространяться не буду, в Межрегиональной депутатской группе есть прекрасные экономисты, в том числе Шмелев и Попов, которые обозначили комплекс архисрочных реформ по спасению наших финансов.

Почему я всегда был одним из тех, кто достаточно спокойно относился к лозунгам о немедленной многопартийности? Да потому, что сам факт существования многих партий еще ничего не решает. В Чехословакии, ГДР еще совсем недавно имелось несколько партий, но социализм до последнего времени там был казарменным — брежневско-сталинский вариант со своими деталями. Сейчас он рухнул и там, но многопартийность тут ни при чем. В Северной Корее, кстати, тоже много партий.

Так что до многопартийности, настоящей, цивилизованной, нам еще надо расти и расти. И еще одно замечание. Пока у нас нет многопартийности. Но ведь это иллюзия, что у нас одна партия. Единая и непобедимая. На самом деле, если у нас в одной КПСС состоят Юрий Афанасьев и Виктор Афанасьев, Ельцин и Лигачев, депутат Самсонов и депутат Власов, полные антиподы и по позициям и по поступкам, значит, мы уже совсем запутались в понятиях и забыли вообще, что такое партия. И поэтому я предлагаю срочно принять Закон о партии, в котором закрепить положения о том, что партия является частью общества, а не государства, а также то, что граждане свободны объединяться в общественные организации и партии.

Еще один важный аспект: взаимоотношения с церковью. Мне кажется, Сталину удалось создать единственное в мире государство, которое подчинило и поставило на колени даже церковь. С большим трудом и только сейчас церковь начала приходить в себя после жесточайших ударов, наносимых по ней многие десятилетия. Факты недавнего прошлого, о которых мы читаем в сегодняшней прессе, например, как церковнослужители докладывали о своих прихожанах в партийные органы и КГБ, или ситуация с отказом уже в наши дни регистрации греко-католиков, говорит не о падении церкви, а о том, что, когда общество больно, у него нездоровы все члены. Сегодня церковь начала выздоравливать. И я уверен, наступит момент, когда церковь придет на помощь обществу со своими вечными общечеловеческими ценностями. Потому что в словах — не убий, возлюби ближнего своего — нравственные принципы, которые помогут нам выстоять в самой критической ситуации.

Принцип свободы совести закреплен в нашей Конституции. Как он реализуется на деле — мы все отлично знаем. И эта статья в Конституции будет оставаться фикцией до тех пор, пока не будут реализованы экономические и политические реформы в стране. Пока главной ценностью общества не станет человек. Пока же у нас все наоборот: главная ценность нашей партийно-бюрократической системы — государство. Ему мы и служим. Я надеюсь, во всяком случае, я делаю и буду делать все для того, чтобы до конца этой службы остались считанные месяцы, недели, дни...

Я далеко ушел от рассказа о Межрегиональной группе. А продолжение истории с ней показательно. В то время как заседал, выкраивая редкие часы для работы, Координационный совет Межрегиональной депутатской группы, в то время как шли мозговые штурмы по выработке программ выхода из кризиса, начался совсем другой штурм — дискредитация участников группы. В газетах, на встречах с избирателями, на привычных партактивах, — повсюду, где можно и нельзя, — сообщалось, что они, то есть мы, рвутся к власти, хотят повергнуть страну в хаос, в диктатуру, они проходимцы, интеллигенты, бюрократы, далеки от народа, у большинства из них темное и неясное прошлое... Все это вроде бы

выглядит смешно и забавно, но на самом деле страшно. Ничему нас история не учит.

Опять уже не первый раз в нашей жизни делается попытка заменить процесс диалога, процесс сопоставления различных взглядов и подходов — заменить эти естественные и необходимые для общества, отказавшегося от тотального единомыслия, процессы, — на борьбу с личностями, являющимися носителями и выразителями этих взглядов и подходов.

Все это уже было в нашей истории и не принесло народу ничего, кроме неисчислимых бедствий и страданий. Пора уже понять, что общество наше, к счастью, неоднородно. Различные его социальные группы и слои имеют различные интересы, не во всем совпадающие.

Пора уже понять, что Межрегиональная депутатская группа — это не «собрание амбициозных, рвущихся к власти деятелей». МДГ выражает интересы той значительной части общества, которая считает, что перестройка в стране ведется недостаточно последовательно и решительно, что наши сегодняшние беды вызваны не тем, что мы принялись лечить хороший социализм плохим капитализмом. Просто, столкнувшись с первыми же трудностями в процессе реформирования бюрократического казарменного социализма, мы стали искать выход с помощью все тех же старых административных, командных методов.

Но главное все-таки состоялось. Группа работает, группа разрабатывает стратегию и тактику развития нашего общества, а поскольку в ней собрались наиболее светлые депутатские головы, все равно никуда не деться, народ в конце концов пойдет за ними...

После окончания работы Межрегиональной депутатской группы наступили короткие парламентские каникулы, а уже в середине сентября я оказался в Америке, и эта короткая поездка всего на девять дней наделала много шуму.

В США я оказался по просьбе нескольких общественных организаций, университетов, ряда политических деятелей, всего я получил около пятнадцати приглашений. Предполагалось, что поездка будет продолжаться две недели, однако в ЦК партии решили отпустить меня только на одну. Для организаторов это известие стало катастрофой, и они попросили меня, не срывая программы, попытаться уместить большинство запланированных встреч, лекций и т. д. в одну неделю. Когда-то в школе, а потом в институте я проходил теоретический постулат об эксплуатации человека человеком при капитализме. Теперь же этот неоспоримый тезис я испытал на собственной шкуре. Я спал по два-три часа в сутки, перелетал из одного штата в другой, за день проходило по пять-семь встреч и выступлений, и так всю неделю без остановки. Очнулся от этой спринтерской гонки я лишь в самолете, который уносил меня в Москву, — и теперь у меня есть мечта побывать в Америке еще раз, но только увидеть ее не из окна мчащегося автомобиля, а спокойно, не спеша, рассмотрев детали, на которые в этот раз времени не хватило.

О моей поездке в Штаты много писали и в самих США, и у нас в стране, поэтому об основных ее итогах вряд ли стоит распространяться. Было много интересных встреч начиная от президента Буша и заканчивая простыми американцами на улицах городов. И я наверняка покажусь банальным — но все же больше всего меня поразили именно простые люди, американцы, излучающие удивительный оптимизм, веру в себя и в свою страну. Хотя, конечно, были и другие потрясения, от супермаркета, например... Когда я увидел эти полки с сотнями, тысячами баночек, коробочек и т. д. и т. п., мне впервые стало откровенно больно за нас, за нашу страну. Довести такую богатейшую державу до такой нищеты... Страшно.

По условиям, оговоренным организаторами поездки, за чтение лекций в университетах мне выплачивались гонорары. В последний день выяснилось, что за вычетом всех расходов на пребывание нашей группы из четырех человек сумма, которой я могу распоряжаться, составила сто тысяч долларов. Я решил приобрести в рамках акции «АнтиСПИД» одноразовые шприцы, и уже через неделю первая партия в сто тысяч одноразовых шприцев поступила в Москву, в одну из детских больниц. Всего был закуплен миллион шприцев, на всю сумму, до цента.

Рассказываю об этом только лишь потому, что как раз в тот самый момент, когда я ставил свою подпись на документе, в котором давал распоряжение заработанные деньги истратить на приобретение шприцев, в киоски «Союзпечати» Москвы поступили первые утренние номера газеты «Правда» с перепечаткой статьи о моей поездке из итальянской газеты. В публикации сообщалось, что я все время, пока был в Америке, пребывал в беспробудном пьянстве, притом приводилось точное количество выпитого за все дни, и тут итальянец явно недофантазировал, подсчитанное могло бы свалить с ног только слабенького иностранца. А кроме того, оказывается, зря в Москве кто-то ждет шприцы, я истратил все деньги на видеомагнитофоны и видеокассеты, на подарки самому себе, костюмы, белые рубашки, туфли и прочую мелочь, я не вылезал из универсамов и только успевал твердить — это мне,

это и это! В общем, в статье, очень оперативно перепечатанной «Правдой», я походил на привычного пьяного, невоспитанного русского медведя, впервые очутившегося в цивилизованном обществе.

Конечно, я знал, что моя поездка в официальных верхах вызовет бурную негативную реакцию. Я подозревал, что будут попытки скомпрометировать и меня, и мое путешествие в США. Но что мои недоброжелатели опустятся до столь откровенной глупости и беззастенчивой лжи, — честно говоря, этого я не ожидал.

Реакция москвичей и многих-многих людей со всех уголков страны была однозначной. Я получил тысячи телеграмм с поддержкой в свой адрес. Провокация на этот раз не удалась.

Но на этом мои невидимые оппоненты не успокоились. Через какое-то время по Центральному телевидению с предварительным анонсом в программе «Время», что делается крайне редко, была показана полуторачасовая передача о моем пребывании в США. И основным номером программы, ради чего все это и затевалось, была моя встреча в институте Хопкинса со студентами и преподавателями. Я уже рассказывал, что в Америке у меня был сумасшедший график, плюс смена временных поясов, усталость, недосыпание — все это накопилось до такой степени, что однажды ночью, чтобы хорошо уснуть, я выпил пару таблеток снотворного и моментально провалился... А в шесть утра меня уже принялись будить — в семь одна официальная встреча, а в восемь выступление в институте Хопкинса. Я чувствую, что не смогу подняться, совершенно разбитый. Прошу отменить встречу. Мне говорят — это невозможно, будет скандал, хозяева этого не переживут. Я говорю: это я не переживу сегодняшний день. И вот, абсолютно без сил, собрав всю свою волю, провел первую встречу, затем вторую, ну а дальше было легче, я разошелся, да и действие таблеток прошло. Так вот именно эту передачу из десятков возможных показало наше телевидение советским телезрителям, получив техническую запись неизвестно откуда. Впрочем, можно догадаться, откуда.

К тому же, специальные мастера произвели с видеопленкой особый монтаж: где надо замедляя на доли секунды изображение, а где надо — растягивая слова. Об этом мне сообщили видеоинженеры из Останкино. Они даже написали письмо, которое было передано в комиссию, разбиравшую предвзятое освещение в прессе моей поездки. Но, естественно, этот вопиющий факт с пленкой разбирать и проверять никто не стал. К тому же, главная цель была достигнута. Растерянные люди — их было немного, но они были — говорили: а может, он действительно был пьяный?.. Объяснять, оправдываться я считал неуместным.

Но тем не менее это для меня еще один урок. С этой системой, ненавидящей меня, которая следит за каждым моим шагом, ловит каждое мое ловкое или неловкое движение, — с ней нельзя расслабляться ни на минуту. И если бы я знал, что и здесь, на другом континенте, почти сонного, меня сторожат, я бы... А что — я бы? Не стал бы принимать таблетку? Да нет, я не выдержал бы без сна. Отказался бы от встречи? И это невозможно. Скорее всего, просто не надо было себя так загонять в этой поездке. Учту на будущее...

На падение своего рейтинга я отреагировал достаточно спокойно. По-прежнему уверен: все встанет на свои места, не может эта нелепая и бессмысленная история надолго подорвать доверие ко мне людей, вдруг в чем-то засомневавшихся. Все равно в конце концов оцениваются реальные дела и конкретные результаты — а не мифические домыслы и слухи формируют народное мнение.

После своего невольного купания в ледяной воде я на две недели достаточно серьезно заболел, простуда задела легкое. Поэтому за частью сессии следил на экране телевизора. Зрелище, как выяснилось, очень грустное. Особенно зная, насколько острая ситуация сложилась в стране, как важны сейчас, немедленно принципиальные решения, которые, еще есть шанс, могут вывести нас из кризиса. Но решения не принимаются, кардинальные законы откладываются неизвестно на какой срок, и мы все явственнее сползаем к той точке, откуда нас уже не вытянут никакие самые смелые и прогрессивные законы.

Я помню, как Юрий Афанасьев на Первом съезде народных депутатов остро и образно оценил только что избранный Верховный Совет, назвав его сталин-ско-брежневским. При всем моем уважении к автору сравнения, все-таки не соглашусь с его оценкой. Наш Верховный Совет не сталинско-брежневский — это скорее завышенная, а может, и заниженная оценка. Он — горбачевский. Полностью отражающий непоследовательность, боязливость, любовь к полумерам и полурешениям нашего Председателя. Все действия Верховный Совет предпринимает гораздо позже, чем надо. Запаздывает, как и наш Председатель.

Именно поэтому Верховный Совет не решил практически ни одной из поставленных перед ним задач. Даже те законы, которые были подготовлены, отработаны, прошли комитеты, например Закон о печати, или Закон о въезде и выезде, принятия которого требовали наши политические обязательства на

Венских соглашениях, — даже они так и не были приняты.

Под занавес осенней сессии, как бы в назидание нам, в трех социалистических странах рухнул тоталитарный социализм, навязанный Сталиным этим государствам после войны. И словно в насмешку над нашими вымученными пятью годами перестройки, за считанные дни и ГДР, и Чехословакия, и Болгария совершили такой скачок из прошлого вперед к нормальному человеческому, цивилизованному обществу, что уже и неясно теперь, сможем ли мы их когда-нибудь догнать. Разрушенная берлинская стена, новые правила въезда и выезда, законы о печати и общественных организациях, отмена статей в конституциях о руководящей роли Коммунистической партии, отставка ЦК, созыв внеочередных съездов партий, осуждение ввода войск в Чехословакию — все это еще четыре года назад должно было произойти у нас, и все эти годы мы топчемся на месте, с испугом делаем шаг вперед и тут же отпрыгиваем в два прыжка назад.

Я очень рад, что у наших соседей в соцстранах произошли такие перемены. Рад за них. Но мне кажется, эти перемены заставят и нас по-новому оценить то, что мы так гордо именуем перестройкой. И скоро мы поймем, что остались на Земле практически единственной страной, пытающейся войти в новый XXI век с отжившей идеологией века XX. Совсем скоро мы останемся последними жителями страны победившего нас социализма, как сказал один умный человек.

...Самые последние события. По Москве бродят слухи, что на ближайшем пленуме намечается переворот. Хотят снять Горбачева с поста Генерального секретаря ЦК КПСС и оставить ему руководство народными депутатами. Я не верю этим слухам, но уж если это действительно произойдет, я буду драться на Пленуме за Горбачева. Именно за него — своего вечного оппонента, любителя полушагов и полумер. Эта тактика его в конце концов и погубит, если, конечно, он не осознает этой главной ошибки сам. Но сейчас, по крайней мере до ближайшего съезда, на котором, может быть, появятся новые лидеры, он единственный человек, который может удержать партию от окончательного развала.

Правые, к сожалению, этого не понимают. Они считают, что простым механическим голосованием, поднятием руки вверх им удастся повернуть историю вспять.

Конечно, циркуляция этих слухов симптоматична. Огромная страна балансирует на лезвии бритвы. И никто не знает, что произойдет с нею завтра.

Читателю этой книги чуть легче, чем мне. Он уже знает, что произошло завтра, где я, что со мной.

Он знает уже, что со страной. И что с нами всеми...

1989

СОДЕРЖАНИЕ